



Виктор
Кречетов

По реке времен

Повесть
Рассказы
Переводы
Заметки

Виктор Кречетов
По реке времен (сборник)

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кречетов В. Н.

По реке времен (сборник) / В. Н. Кречетов — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906910-81-3

Книга, подготовленная к 75-летию Виктора Кречетова, подытоживает значительный период творческой работы писателя. Основу книги составляет автобиографическая повесть, освещающая жизненный и творческий путь автора от рождения и до наших дней. Повесть насыщена ленинградским и петербургским материалом, большое внимание автор уделяет своей педагогической деятельности в качестве руководителя литературного клуба «Дерзание» при СПб. Городском Дворце творчества юных. В книгу вошли также короткая проза, не публиковавшаяся ранее, около шестидесяти эссе, посвященных книгам-спутникам, и раздел переводов из разных поэтов, выполненных автором в разные годы.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906910-81-3

© Кречетов В. Н., 2017

© Алетейя, 2017

Содержание

Плывший по реке времен	6
Детство в Хомутовке	6
Челябинск	23
Первые годы	23
Строительное училище № 42	26
Школа рабочей молодежи	35
Драмкружок в «Зеленом»	38
Поездка на Амур	40
Театр оперы и балета имени М. И. Глинки	44
Хомутовка. Лето 1362 года	46
Снова Челябинск	49
Дополнение	51
Ленинград	54
Университет	54
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Виктор Кречетов

По реке времен (сборник)

© В.Н. Кречетов, текст, рисунки, 2017

© М.Е. Устинов, подготовка издания, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

Плывший по реке времен



Детство в Хомутовке

Первые воспоминания детства: поздний летний вечер. Мать держит меня на руках и выходит к палисаднику перед домом. На небе ярко-ярко светит полумесяц. Я в восторге восклицаю: «Кулика!». Сам ли я это помню или со слов матери, но так ясно вижу эту картину будто это было только вчера. Мне в то время годика полтора, а может, и два...

Мне кажется, я человек везучий, и уверен, что какая-то высшая сила хранит меня с самого рождения. И даже до рождения. Когда моя мать была на сносях, так случилось, что однажды она шла по железнодорожному пути вдоль пакгауза на станции «Безобразово», а

навстречу ей на всех парах несся товарный поезд и гудел. Время было военное, каждая минута была на счету, и поезд не стал бы тормозить из-за какой-то бабы, а по другому пути, рядом, тоже шел поезд. Наконец пакгауз кончился, и мать успела соскочить с рельсов. Всё решили секунды. И я появился на свет.

Мне не было еще и года, когда в нашем доме случился пожар. Сбежался народ, помогали вынести из дома одежду и все, что можно спасти. И все это бросали в одну кучу. В этой суете и толчее мать сунула соседке сверток, а сама кинулась в дом что-то спасать. Соседка, не сообразив, что ей сунули ребенка, а не узел с тряпками, бросила меня в общую кучу тряпья, и тут же по этой куче проехала подоспевшая пожарная помпа с колхозного двора. Когда мать спросила, где ребенок, обе пришли в ужас и кинулись разгребать тряпки. Я мирно спал и в ус не дул, будто меня все это не касалось. Поистине все в руках Божьих!

К слову, о Боге.

Крестили меня в Моршанске, в церкви. По рассказам матери и крестной, когда меня крестили, всех охватило непонятое веселье. Смеялись все, в том числе и священник, совершавший обряд крещения. Что это означало, не знаю, но полагаю – это был добрый знак. Может быть, поэтому я люблю воду – ручей, реку, озеро, море или просто дождь. Особенно проливной. А может быть, это от игрищ в день Ивана Купалы.

Церкви в нашем селе не было. После революции ее перестроили в школу. Религиозные праздники отмечались. Но не по-церковному. Были, конечно, в домах иконы, лампадки, а вот попов я боялся сызмальства. Одно из ярких впечатлений детства: огромный поп с белой бородой и в черной рясе заходит в дом, где, кроме меня, никого нет. Я прячусь от него под кровать, а он сует туда огромный крест и кричит: «Целуй крест! Целуй крест!». Но я не даюсь, забиваюсь подальше в угол и дожидаюсь, когда он уйдет. Так и осталось во мне это впечатление чего-то темного и жуткого навсегда. А вот от «авсеня» или от летних игрищ на Ивана Купала в памяти свет. В день игрищ все могли обливать друг друга водой, сталкивать любого в воду – всем это доставляло какую-то первобытную радость, ощущение, что все едино, человек – часть всей природы и как бы растворен в ней, соединен с водой, травой, кустами и деревьями. Это радостное ощущение жизни я до сих пор ношу в себе.

Другое воспоминание: мне снится небесный свод таким, каким его раньше изображали – в виде полусферы. Свод синий-синий, и из него торчит угол белого кирпичного дома. Этот дом находится в деревне Колоколовка, в километре от окраины нашей Хомутовки, и я его не раз видел, мне он казался каким-то таинственным и загадочным. Вот в одном из моих дошкольных снов он мне и приснился. Вижу его и сейчас: торчит из небосвода, и окна видны.

Жили мы бедно, весенней обуви, чтобы выйти на улицу, не было. Апрель, тает снег, светит солнце, я сижу у окна и смотрю в палисадник. На солнце что-то переливается всеми цветами, сияет так соблазнительно, так обещающе. Мне кажется, что там какое-то сокровище, и я не выдерживаю – выбегаю на улицу и нахожу мой сияющий изумруд – им оказывается маленький осколочек фарфоровой чашки с цветочком. Разочарованию моему не было конца. Только что это был какой-то фантастический мир, приводивший меня в восторг, и вдруг это очарование так грубо исчезло.

С одеждой вообще было плохо. Лет до шести или семи я бегал босиком, без штанов, в одной рубашке, и бегал так едва ли не до снега. Лет в пять я любил ходить к тете Анютке Отдельновой, это в соседнем доме. Когда-то братья-дедовья разделились и построили рядом второй дом. Так обе семьи стали называться Отдельновы. У нас были очень близкие отношения, хотя каждая семья жила сама по себе. Тетя Анютка как могла подкармливала меня, вот я и бегал к ней постоянно. Как-то уже поздней осенью я прибежал к ней в одной рубашке. Мать моя тоже была у нее, я, наверное, получил пирожок и собрался обратно к себе, когда тетя Анютка пошутила: «Витя, петушка-то отморозишь!». – «Ничего, – отмахнулся я, – отморожу, подниму и в карман положу».

Осталось в памяти: в доме к потолочной балке подвешена зыбка, в ней лежит моя младшая сестренка Лида. Мама дала мне кружку со сливками, чтобы я ее покормил. Лида была на два года младше меня, она умерла в возрасте двух лет от дифтерии. Мать понесла ее в нашу сельскую больницу, время было неприёмное, ночное, но врачиха Елена Яковлевна жила при больнице. Мать долго стучала к ней, наконец вышла домработница и сказала, что Елены Яковлевны нет дома, но мать видела, что та подходила к окошку посмотреть, кто там, а потом уже дверь открыла домработница. Пришлось ехать в Александровку, за десять километров, там тоже была больница. Пока мать взяла в колхозе лошадь, запрягла ее в сани, пока ехала до Александровки, Лида умерла. С тех пор у меня в душе поселилось какое-то недоверие ко всем пришлым людям, Елена Яковлевна была не нашей, не деревенской. А уж откуда ее к нам занесло – не знаю. И с тех пор все Яковлевичи и Яковлевны у меня всегда вызывают в памяти ту Елену Яковлевну.

Первая сознательная память – ожидание отца с фронта. Целыми днями я сидел у окошка и смотрел на окраину деревни, которая была через три дома от нас, смотрел, оттуда выйдет солдат в шинели, и это будет мой отец. Тогда он еще был жив. Помню, тетка Анютка, соседка, да и мать иногда скажут мне: «Витя, вон отец идет!». Я бегу навстречу, но они меня останавливают: «Нет, это не отец». Я опять начинаю ждать. В сорок седьмом пришла похоронка на отца, не похоронка даже, а телеграмма, записанная от руки на почте. Этот пестрый листочек хранится у меня до сих пор.

В доме была панихида, со свечами, отпеванием, народ собрался. Я смутно чувствовал присутствие смерти, и понимал, что меня это как-то касается. Я убежал на верхний огород и там спрятался в картофельной ботве, среди лебеды и бурьяна. Меня нашли, как-то успокоили. Сам я отца не помню, хотя смутные воспоминания есть, но, возможно, они вторичны и возникли уже на основе рассказов матери. Когда мне был год, отец приходил с фронта по ранению. Он сидел в избе со стариками, курил махорку, а я подбирал окурки. У нас обычно бросали их на пол и тушили ногой. Тогда отец взял меня на руки, докурил сигарку до конца и сунул ее мне в рот. Я обжегся и заревел. После этого я утратил к окуркам интерес.

Правда, потом, в четвертом классе, я начал курить с пацанами. И однажды в клубе до того обкурился, что меня рвало и я едва дошел до дома. А когда мать увидела меня совершенно позеленевшего, она в ужасе кинулась ко мне: «Сынок! Что с тобой?». – «Обкурился!» – признался я, потому что мне уже было не до страха наказания. Мать не ругала меня, а сказала что-то вроде: «Ну видишь, сынок, что такое табак». – «Вижу, больше курить не буду!» И действительно, до двадцати девяти лет не курил ни разу.

Потом приезжал какой-то военный, привез отцовскую шинель и медаль за победу над Германией. Эту шинель мать позже перешьет мне по росту, и я буду ходить в ней в школу, за что получу кличку «Солдат». Об этом у меня есть стихотворение «Шинель»:

Отцовский друг привез с войны шинель –
Наследство от погибшего отца.
Что он нажил, все воплотилось в ней,
Мать приняла, как будто дар Творца.
И под иконами ее на гвоздь
Повесила – не знаю – почему.
Она иконам вместе и поврозь
Молилась сквозь ночную тишину.
И в той шинели в школу я ходил.
И кличку получил за то – Солдат.
Я это званье с гордостью носил,
Не различая праздников и дат.

Все детство милое я Родине служил,
Страна в награду мне шинель дала.
И песню ей за это я сложил,
Добра не зная, но не помня зла.

В 1947 году был сильный голод. По селу ходили нищие, побирались. Однажды я был в доме один, когда зашел Володька по прозвищу Кирич, он был на пять лет старше меня, а жил через два дома от нас. Он попросил подать чего-нибудь. Я сказал, что ничего нет. Он увидел под печкой свеклу и попросил дать ему свеколки. Я залез под печку и стал ему кидать, а он все просил меня еще и еще, пока не набил свеклой мешок, висевший у него через плечо. Слава Богу, в эту минутку вошла мать и заставила его выгрузить все обратно. Меня, конечно, отругала, как можно отругать пятилетнего несмышленища. Прозвище Кирич он получил от отца. Наши отцы до войны были друзьями. Уже в наши дни я узнал, что у Кирича сын погиб в Афганистане.

Надо сказать, нищета и голод были в то время обыденными. Получше жили семьи, у кого были мужики, хоть даже без ноги или без руки. А бабы-одиночки, особенно с детьми, жили на грани голода. Зажиточными считались семьи, где ели каждый день пшеничную кашу с маслом, но это было не у всех. Мне, правда, жаловаться грешно – у нас была хорошая корова Пестранька, которая давала много молока и ежегодно приносила теленочка.

Нас у матери было трое выживших – старший брат, Иван, за ним по возрасту сестра Катя и я, на девять лет младше брата. Были еще две сестры – старшая Ниночка умерла еще до меня, а Лида уже при мне. Прокормить троих да и себя еще мать, конечно, не смогла бы, не будь нашей кормилицы и поилицы Пестр аньки.

Жизнь была каторжная, все облагалось налогом: с коровы – масло, с овцы – шерсть, с курицы – яйца... Сначала нужно было выполнить поставки в государство, а уж если что останется, то для себя. С нашей коровы и нам кое-что доставалось и можно было продать масло учительнице, получавшей зарплату, чтобы купить керосину, спичек, соли, а иногда и сахара, причем все это можно было купить по карточкам сельпо, то есть если ты член сельского потребительского кооператива, если все взносы выплатил, да и то нельзя было купить больше нормы. Но мы и норму не всегда могли выкупить.

Годы раннего детства мне запомнились как голодные и нищенские. Кормились мы со своего огорода, слава Богу, земли было пятьдесят соток, а работа в колхозе практически ничего не давала. Это была своего рода барщина, только барщина предусматривала день или два работы на своем поле, а работа в колхозе этого не предусматривала. Хотя, конечно, бригадир отпускал на день или два, но по своей собственной воле, чтобы обработать огород. Оплата в колхозе была натурой. Осенью. Когда колхоз выполнял зерно – и мясоставки государству, подсчитывали, сколько осталось пшеницы, ржи, и делили на количество всех трудодней в колхозе. Обычно выходило граммов по 150-200 ржи и граммов по 100 пшеницы на трудодень. Ну и, в зависимости от количества выработанных трудодней, получали хлеба. Здоровый мужик мог выработать в день два с половиной трудодня, то есть он работал обычный день, а ему ставили в журнал два или два с половиной. Баба на мужской работе могла зарабатывать полтора или даже два трудодня. Таких баб было мало, обычная баба на обычной женской работе – перебирать картошку, зерно, вязать снопы и свясла для снопов – получала один или 0,75 трудодня, то есть работаешь день, а тебе записывают день неполный. На какую работу пошлет тебя бригадир – зависит от бригадира, от отношений с ним. Вроде бы нет смысла и на работу ходить, но и не ходить нельзя, потому что для своего огорода тоже нужна лошадь, а лошадь можно взять только в колхозе. Лошадь нужна и для того, чтобы привезти нарезанный у черта на куличках торф, да если он и близко, на руках все равно не перетаскаешь.

Хорошо помню, как плели лапти и ходили в лаптях. В сенях на гвозде у нас висел кочетыг, специальное приспособление для плетения лаптей – деревянная ручка, из которой торчал железный слегка изогнутый плоский, но с выемкой, штырь. Мать моя, когда хотела о ком-нибудь сказать нехорошо, говорила: «Кочетыг ему в задницу!». К слову сказать, мать обычно не ругалась матом, но крепкие слова иногда выговаривала. Бывало, я начну тянуть: «Мааааам, хлеба!» – «Жопа слепится!» – в отчаянии, с досадой, но и не без шутки в интонации ответит она. Потому что хлеб рассчитан до кусочка. Иногда хлеб приходилось брать взаймы у соседней или давать взаймы соседям. Хлеб взвешивали точно, на безмене, и обязательно возвращали.

А случалось, я стану просить: «Мааааам, есть хочу!» – «Что я тебе дам, глисту на листу?!». Есть я хотел, но на суровые ответы не обижался, понимая, что дать мне нечего.

В деревне умели делать все. Сами ткали и шили домотканые порты и рубахи. В доме у нас зимой стоял ткацкий стан, и мать сидела за ним. Когда не было муки и смолоть было негде, но если при этом было зерно, то мололи на ручной мельнице, и я довольно на такой мельнице поработал. Сейчас, если понадобится, я без труда сумею такую мельницу сделать. Крахмал толкли в ступе пехтелем. Обычно крахмал делали из картошки, набранной весной после снега на колхозном картофельном поле. Собирать крахмал было обязанностью детей. Как только снег сходил с полей, все мы, кто с лукошком, кто с ведром или мешком, шли в поле и подбирали мороженую картошку. Потом мыли ее, сушили и толкли. Крахмальный кисель казался вкусным.

А летом по жнивью собирали колоски с зерном. Но это запрещалось, и объездчик мог догнать и отхлестать кнутом, такое бывало не раз. Об этом у меня есть рассказ «Митьми». Там объездчик выхлестнул плеткой мальчишке Ваське Попкову глаз. Между прочим, однажды прототип героя прислал мне письмо, в котором поблагодарил за рассказ и сказал, что глаз он потерял другим образом. Разумеется, правда рассказа здесь не пострадала, а вот что интересно отметить – прототипом оказался ныне член Союза российских писателей профессор Мичуринского педагогического института Василий Иванович Попков. Вырасти в нашей Хомутовке и стать заведующим кафедрой, профессором – это чего-то стоит.

Одно из ранних воспоминаний: бегаю по крутому песчаному откосу в нашем бараке (так у нас называют овраг) вдвоем с девочкой, моей ровесницей, она живет за несколько домов от нас. У нее было прозвище Гарда. Что означало это слово – не знаю, но у нее был чуть хрипловатый голос и я думал, что она одновременно и девочка, и мальчик, то есть гермафродит. И вот она останавливает меня на откосе и говорит: «А я ангелов видела! Вон там, – показала она в глубину оврага, – они сошли с неба и у них были белые крылья!». Я ей не поверил, потому что она всегда привирала, но зато явственно представил, как они спускаются с неба. Может быть, ей и впрямь являлись ангелы.

Много позже я узнал, что она пила и, как говорят, сгорела от водки.

Еще дошкольное воспоминание: мы купаемся в речке, а когда я выхожу из воды, то не нахожу штанов. Девчонки сказали мне: «Витя, твои штаны овцы съели». Не знаю, поверил я им или нет, но домой пришлось идти без штанов. Мать спросила: «Ты чего без штанов?». Я ответил: «Овцы съели!». Потом девчонки принесли штаны.

Очень яркий эпизод в памяти: мы с братом Иваном в барском саду, в полукилометре от дома, наверное, пасем телят. Вдруг к брату кто-то подошел и что-то сказал. Иван подозвал меня и попросил сказать матери, что он уехал в город в ремесленное училище. Сказал и побежал с горы в сторону деревни. Ему было 14 лет, но он был рослым и его взяли в «ремесло». С того дня я не видел его до той поры, когда он пришел из армии на побывку в отпуск. Все это произошло так быстро, что я ничего не успел осознать. Когда я вернулся домой, брата уже не было, я сказал матери, что он бежал, бросив меня, пятилетнего, на произвол судьбы. Остались мы у матери двое – сестра Катя и я. Катя была старше меня на шесть лет, она ходила в школу и учила дома Пушкина. Зубрила. И я с самого раннего детства слышал музыку пушкинских стихов.

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега,
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.

Я легко запоминал и подсказывал ей там, где она запинаясь. Как знать, может быть, именно эти первые уроки и определили мое будущее.

В раннем детстве был у меня закадычный друг Шурка-Жа-май. Жамай – прозвище, приклеившееся к нему потому что он вместо «не замай», то есть «не трогай», говорил «не жамай». Вот и стал Жамай. Мы с ним были не разлей вода, но после первого или второго класса его семья выехала из Хомутовки и увезла его тоже. Для меня это была настоящая трагедия. Я плакал, обняв Шарика, добродушного лохматого желтошерстного пса, нашего общего друга и говорил ему что-то вроде того, что вот остались мы с тобой вдвоем, а Шурка уехал.

С Шуркой Жамаем у меня связаны два памятных эпизода. Когда мы с ним подружились, он еще жил с матерью в деревне со странным названием Абиссиния. Недалеко от Хомутовки, сразу за оврагом. Она стояла между барским домом, в котором теперь была больница, и барским садом. Полагаю, когда-то там жили дворовые люди и было их дворов двадцать. Я же застал дворов семь, и все они уже расселились. В одном из них и жил Жамай с матерью. Однажды мы с ним обнаружили у него в доме хозяйственное мыло, куска два, а может, четыре. Это было целое богатство. Не знаю зачем, но нам пришлось в голову это мыло разрезать. Процесс резанья нам так понравился, консистенция мыла – мягкая, слегка просвечивающая – нам очень нравилась, нож входил в материал мягко, приятно. И мы все мыло порезали на кусочки размером с сахар-рафинад. Когда его мать пришла и застала нас за этим занятием, она устроила ему трепку. Мне ничего не было.

Другой памятный эпизод более драматичен: больница стояла на отшибе и снабжалась водой из речки. Обычно воду возил водовоз на быке. Быка он запрягал в бестарку – телегу, в которой возят зерно, она похожа на корыто, а еще больше на гроб. В середине этой бестарки была укрепленна огромная бочка. Возница сидел впереди на специальной лавочке, а мы попросились прокатиться, он разрешил, и мы сели на задний борт лицом вперед. Пока бык шел шагом, все было хорошо, но мужик огрел его кнутом, бык рванул, я вылетел из бестарки и грохнулся о землю затылком. С трудом встал, голова не двигалась и смотрела только в небо. Так с головой, повернутой к небу, я осторожно, не видя земли и боясь оступиться, дошел до дома. Мать была на работе в поле. Ко мне подошел сосед, Володька Чепеляк. лет на шесть-семь старше меня, стал меня учить: «Витя, а ты вот так делай, поворачивай голову влево и вправо, и говори: «кудель-кудель-голова! гудель-кудель-голова!»». Я и крутил головой. В стороны голова стала поворачиваться, а вниз никак, земли не вижу. Потом пришла мать, нашла меня в сарае, на погребке, и повела в больницу. Там что-то сделали, намазали чем-то шею, может, йодом. И через какое-то время голова встала на место.

Два слова о быках. С быками у меня связаны тяжелые воспоминания. Однажды ночью бык заперол дядю Колю Отдельнова, работавшего конюхом в колхозе. Бык был в ведении конюха, в отдельном стойле. Бык был страшным, его все боялись, и признавал он только дядю Колю. А тут он пришел к быку часа в три ночи. Хотел корму подбросить, а тот не признал его. До тех пор его держали, потому что он был хороший производитель, а после этого случая свезли на мясокомбинат. Дядю Колю хоронили с большим почетом, на машине, этого никто не удостоивался. На ступеньке, у кабины, стоял его средний сын Володька, и я по глупости своей ему немного завидовал.

Другой случай помню, как раз связанный с тем самым больничным быком, на котором возили воду. Он бежал по селу, загоняя всех с улицы во дворы. Наверное, нужно быть испанцем, чтобы это нравилось. Такое удовольствие не для всякого. Хотя мы не были трусами.

Был такой случай. Однажды волки зимней ночью утащили у соседей кобеля по кличке Грозный. Волки разорвали его и тащили полем. Мы нашли застывшие вытянутые в поле кишки. Мне тогда было лет двенадцать или тринадцать. И вот мы, несколько бесшабашных голов, взяв в руки кто нож, кто топор, встали на лыжи и решили догонять этих волков. Мы прошли километра три по следам волков, начало смеркаться, и мы вернулись. Думаю, что мы были отважны, но еще более невежественны. С дикими зверями мы вообще сталкивались мало и чаще всего, пожалуй, могли увидеть или услышать именно волков, иногда лисицу. Но однажды по селу странным образом прошел слух, что через поля бежит осел, зрелище небывалое. Наконец мы узнали, что осел где-то на лугах под барским садом. Мы, пацаны с нашего конца Хомутовки, понеслись туда смотреть зверя. Когда мы прибежали, то увидели следующую картину: в глубоком месте нашей речки, а ширина ее здесь была метров шесть-семь, плавает молодой лось, на голове которого по два отростка с каждой стороны. По берегам реки с той и другой стороны толпа зевак – и детей, и взрослых. Все орут, машут руками, а какой-то ушлый мужик пытается его заарканить. Ему удалось накинуть петлю на рога, но затягивая ее, он сломал рога с одного бока. От боли лось расшвирипел, рванул из воды прямо на нас с другом, и мы кинулись бежать по тропе через болото. Лось ринулся следом, и я, чувствуя его за спиной, бросился в сторону, ничком в болото, и в этот момент услышал и, кажется, увидел, как лось ударил перед собой копытами и, не видя уже перед собой никаких помех, пошел легкой рысью через болото, потом через овраг, в поля.

Как тут не подумать, что какая-то сила хранит меня. От копыт меня отделяла какая-то секунда, может быть, доля секунды. Потом говорили, что лось бежал из Воронежского запovedника.

К слову сказать, в другой раз я спасся вот так же в болоте от Герасьмича, однорукого соседа-мужика, гнавшегося за мной. В последний момент, когда уже он собирался схватить меня, я, как от лоса, шарахнулся от него в болото, куда уже он не побежал за мной. Но если бы он достал меня, мне бы пришлось худо. Мужик он был злой и крепкий, а я чем-то обидел его сына, Витьку Головачева.

Чем я обидел его, не помню, что-то обычное, детское. Но детские обиды бывают сильные. Герасьмич работал завклубом, были у него и недоброжелатели. Много позже я узнал, что его нашли мертвым в нашей речке. Возвращался он из клуба поздно ночью, кто-то подстерег его...

Летом на детское население ложились разные обязанности. Мне, например, приходилось вскапывать лопатой нижний огород – это десять соток. Земля у нас рыхлая, рассыпчатая, копается легко, но десять соток для пацана – это, конечно, работа.

Летом – прополка огорода, полив огурцов и помидоров. Помидоры поливать легко, им нужно не очень много воды, главное, чтобы лить воду под корень. А вот огурцы требуют воды много, они водохлебы. Носишь, носишь воду – конца-краю нет. Меня эта работа весьма утомляла, и я мечтал приобрести рабочую специальность, чтобы не заниматься ни земледелием, ни садоводством.

Приходилось участвовать в сенокосе, потом ворошить траву, чтобы она лучше просохла, потом убирать сено в сарай (на сеновал). Траву мы косили на своем лугу, который был за нижним огородом. Соответственно убирали сено вязанками, через плечо. За лето удавалось сделать два покоса. Этих двух покосов почти хватало корове на зиму. Из скотины у нас обычно было несколько овец, коза или две. Корма для них заготавливали разные – мне приходилось собирать в поле повитель в мешок, сушили ее, это было подспорье. Подкашивал, где мог, разную сорную траву – все шло в дело. По весне лет с десяти-одиннадцати ходил за сохой, помогал перепахивать огород и нарезать борозды для картофеля, приходилось вести лошадь под

узды, а когда мать вела лошадь, я шел за сохой. Потом, обычно это в июне, мы резали торф, штабелевали его, а осенью вывозили уже сухой, складывали в сарай. Заготовка торфа на зиму – самая трудоемкая работа, но главная сложность тут не в самой работе, а в том, чтобы найти этот торф. За многие годы торфодобычи все луга изрезали, и приходилось искать торф в каких-то дальних бараках, да и там все быстро иссякало. Ни дров, ни угля к нам никто не завозил, а если бы и привез, то денег на это все равно не было.

Копейка давалась тяжело. Заработка как такового не было. Мать ухитрилась выгнать самогонки, которую все же можно было продать за десять рублей пол-литра – это еще до реформы 1961 года, а после реформы это был рубль. Запомнился такой случай. Зимой мы шли огородами из школы, трое или четверо мальчишек, дул легкий ветерок, и по земле тянула небольшая поземка. И тут я разглядел торчавший из-под снега уголок розовато-синей десятки с портретом Ленина. Я обрадовался находке, непонятно откуда прилетевшей, похвастался, а парень из соседней деревни, по прозвищу Исай, попросил: «Дай взглянуть!». Я и дал. А он схватил бумажку – и удирать с ней. Слава Богу, сосед мой, Иван Зебрев, он был на четыре года старше меня, помог отнять ее. Радости моей не было предела.

Иногда, конечно, когда закалывали боровка, мать продавала мясо, потом сдавали на мясозаготовку бычка, какие уж там были деньги – не знаю, но надо было и валенки валять, и какую-то одежку справлять. Все требовало денег. Подработать было негде. Однажды со станции «Хлудово» приехал какой-то подрядчик и стал вербовать молодежь на заработки. Нужно было под фундамент рыть ямы. Ребята постарше набились в кузов, я тоже забрался, мне было лет тринадцать или четырнадцать. Это была, конечно, дармовая рабочая сила. Подрядчик сообразил, что парни к вечеру все выкопают, он им выдаст что-то наличными, а сам закрывает наряды как надо.

Кирич, которому я в 1947 году из-под печки бросал свеклу, получил задание и предложил мне помогать ему. Я по наивности решил, что если я буду копать, то и мне заплатят. Но подрядчик увидел меня и отобрал у меня лопату, сказав, что я еще молод работать. Как ни крути, а самогонка была наиболее надежным способом заработать. Правда, и с этим было непросто. Гнать запрещали, ловили. Обычно определяли по дымку – дымок самогоном пахнет. Приходилось гнать в ночное время, под утро.

С малых лет мы, мальчишки, летом пасли своих и соседских телят. Пасли по оврагам и по обочинам большака. Это было самое счастливое время, когда мы жили в окружении природы и наблюдали ее жизнь в течение всего дня. Взлетит ли птица, мы уже соображаем, что там у нее должно быть гнездо. И соревновались между собой, кто больше знает гнезд. И в этом я не знал равных, иногда доводя счет до пяти десятков.

Обычно мы брали с собой географические карты и целыми днями играли с этими картами, в основном, «найди то», «отгадай это». И если у меня есть какое-то представление о географии, то оно, конечно, с той поры. Пересказывали друг другу кто что читал. Забавно, что первоначально мне слышалось вместо «Тихий Дон» – «Донкий ход». «Тихий Дон» я прочитал с большой охотой, а с «Дон Кихотом» у меня складывались отношения более сложно.

Надо сказать, что значительное время мы пасли телят вдоль «большака», и «большак», большая дорога вошли в мое сознание как некая метафизическая составляющая всей нашей жизни, вплоть до того что до сих пор, то есть через полвека, я вижу этот большак во сне.

Одно время у меня было странное увлечение – ловля сусликов. Не знаю, в том ли дело, что сусликов развелось слишком много, а их было действительно много, или в чем еще, но помню, кто-то заработал на сусликах приличную по деревенским меркам сумму и мать ставила его в пример: «Вон сколько заработал». За шкурку суслика платили от тридцати до пятидесяти копеек в ценах до реформы 1961 года, то есть после реформы – три-пять копеек. Я с друзьями-приятелями занимался ловлей сусликов, но капитала на них не сколотил.

Процедура ловли сусликов заслуживает некоторого внимания. Обычно это так: сначала слышишь свист, присматриваешься и видишь столбик у норки. Примечаешь нору и начинаешь носить из оврага воду ведро за ведром и льешь ее в нору. В каждую нору льешь по несколько ведер. Один льет, а другой наготове держит руку у норки. Как только покажется в воде голова суслика, тут же хватаешь его за шею, а дальше – удар о землю с размаха, и суслик готов. Работа адская, как раз для бессердечных детей, но тогда мы над этим не задумывались. Вообще суслик зверек хитрый, у него есть и отнорки, через которые он уходит. А бывает, он встанет головой вниз и держит воду. Но в конце концов он все же не выдерживает, вылезает. Иногда случалось до двадцати восьми ведер в одну норку лить. Это работа не для ленивых. Наверное, в стране была какая-то кампания против сусликов, подобная той, что была в Китае против воробьев.

Поскольку в доме мужика не было, то я рано стал помогать матери. В одиннадцать лет начал с матерью резать торф, тогда же покрыл толем крышу. Крыша у нас была железная, но уже проржавевшая. Мы с матерью решили, не снимая жести, покрыть сверху. А в тринадцать я совершил вообще дело, за которое редкий мужик возьмется. Я перестроил в доме русскую печь. Не знаю уж, как доверилась мне мать, но печь я сделал.

У нас стояла огромная русская печь, у которой плохо прогревался под, соответственно, плохо пропекался хлеб. А у кого-то (не помню теперь у кого) была очень хорошая печь. Я снял с нее все размеры и изготовил с нее точную копию. Сложил, конечно, не очень ровно, но нужного результата добился. Была одна сложность – когда стал делать своды, то свод не получался, кирпичи не держались. Через двор от нас жил старик Мельян, сам печник. Мать подошла к нему: «Мельян, подскажи мальчишке, как сделать?!». Мельян сказал ей: «Раз делает – развалится, другой сделает – развалится, на третий – сама подскажет!». Так и вышло – на третий раз я сообразил, что надо сделать замковый камень. И все встало на свои места. Этой печкой я гордился, да и сейчас горжусь. Но, помню, когда я приехал в деревню на каникулы, то со всей ясностью увидел, что кладка кривая. Но это не мешало печке работать, и мама была очень довольна ею.

Моя хозяйственность имела и курьезные воплощения. Однажды с дружкой мы в школе из собственного класса унесли помидорную рассаду.

Я высадил ее в своем огороде и хотел порадовать мать, но, когда она вернулась с работы, она уже знала, что я взял у директора рассаду. Пришлось все выдернуть и отнести в школу. Я говорю «взял», хотя получается, что украл, но только у нас не было ощущения, что мы ворует рассаду.

Вообще, в школе я поначалу был юннатом, то есть юным натуралистом, работал в огороде у директора. Соответственно, я знал, где что растет. Однажды взрослые парни послали Юрку Лопухова (собственная фамилия – Рябчиков, Лопухов – подворная кличка) и меня в школьный сад за дынями, а сами дожидались нас на горе у барского сада. В потемках мы с ним нарвали кабачков и нанизали их на длинную железную трость, принесли. Понятия «кабачки» у нас не было. Мужики решили, что это какие-то кормовые дыни, и послали нас снова. Во второй раз мы принесли то, что надо.

Лазание по садам и огородам у нас почему-то не считалось большим грехом, а, напротив, делом мужской доблести. Разумеется, если кого-то накрывали в саду, то за это не хвалили, но сколько-либо серьезных последствий не помню.

С садолазанием у меня однажды вышла большая оплошность. Мы шли, несколько мальчишек, по деревне, решили к кому-то залезть в сад, а я почему-то не захотел и спокойно шел по селу. Между тем их там шуганули, и они все разбежались, а поскольку я никуда не убежал, то меня поймали и отвели к матери. Мать меня шибко побила. Ни за что. А потом бабы сказали ей, что Витька не при чем. У меня все это осталось в памяти, хотя я никогда на мать не обижался. А мать переживала за то, что побила меня зря. Уже когда ей было лет семьдесят, я навещал ее в Челябинске в больнице, вот тогда она мне призналась: «Сынок, не обижайся на

меня, я ведь зря тогда тебя побила!». – «Да ну, мам, какая ерунда!» – постарался я успокоить ее, чтобы не переживала об этом.

Но помню и такое: ночью мы с дружкой забрались в сад к мужику, который спал в саду, нарвали яблок и поехали в Моршанск продавать. Продали железнодорожным рабочим и купили по три или четыре буханки хлеба. Возможно, рабочие и не очень нуждались в наших яблоках, а просто решили помочь пацанам. Дома хлеба как раз не было, и наш бизнес оказался кстати. Родители не спрашивали нас, какие яблоки мы продали, думаю, они догадывались.

В Моршанск ездили, конечно, зайцами – либо под ступеньками пассажирского поезда, либо в тамбуре товарняка, либо на крыше пассажирского или пригородного поезда. В то время это было обычное явление, и по крышам вагонов мы бегали, как по дороге. Иногда люди даже спали на крыше, и известны случаи, когда кто-то просыпался перед крытым мостом и его сбивало. На крышах много ездило и всякой шпаны.

В самом раннем детстве природа производила на меня огромное впечатление. Особенно облака – белые, кучевые. После дождя мы любили бегать по лужам, но иногда меня охватывала оторопь, когда я смотрел, я понимал, что это иллюзия, и все равно боялся – настолько реальным казалось, что передо мной пропасть небесная.

В четвертом классе, вернее, летом перед четвертым классом, я читал рассказ Льва Толстого «Кавказский пленник», произведший на меня очень сильное впечатление, и горы мне виделись именно в нагромождении облаков. Я смотрел на облака, а видел горы и двух русских офицеров. Литература, природа и воображение сливались воедино.

В раннем детстве я застал совсем еще натуральное хозяйство: еще ходили в лаптях, сами ткали, толкли сушеную картошку в ступе – готовили крахмал, сами сбивали масло в горшках или в специальном деревянном приспособлении (забыл слово), мололи ручную зерно, мололи цепами и провеивали ручную. Все это делал и я сам. А кроме того, клеил галоши и резиновые сапоги, подшивал валенки, да и мало ли что приходилось делать. Взять хоть керосинку – я легко ее сооружаю из подручных средств. Иногда еще и теперь случается применить такое умение. Или сплести корзину. Умением плести корзины я обязан деду Василию Отдельнову. Он поручал мне резать хворост, а потом показывал, как это делается. С дедом Василием у меня связано одно забавное воспоминание. Он любил конфеты карамель. Бывало, вынет конфету из кармана, покажет мне и по слогам прочитает: «Ка-ра-мель! Карамель! Хороший карамель!» – скажет восторженно и положит себе в рот. Я так ни одну и не попробовал.

Дед Василий был заядлым курильщиком и обеспечивал табаком себя сам – высаживал табак, потом сушил, резал, добавлял для аромата цветы донника. С тех пор я всегда, нюхая донник, вспоминаю его. Потом, в середине пятидесятых, он уехал вместе с семьей в Калининградскую область, где его старший внук Михаил остался после войны.

Вообще воспоминания детства беспорядочны и отрывочны, они живут во мне отдельными картинками. Вот мы бегаем по лугам, едим «матрену», как называется эта трава культурно – не знаю. Надо сказать, у нас вообще много названий носят местный характер. Паслен, например, у нас называется «бздника», но произносили мы это слова без звука «д», поскольку не знали, от какого глагола оно происходит. Я вообще долгое время не знал, что это «паслен». «Витька, айда бзднику есть!» – и пошли есть бзднику. Мне и в голову не приходило, что название не очень приличное. Мы любили есть крушину. У какого-то поэта есть книга с названием «Крушина – ягода сладкая». Она, конечно, не совсем сладкая, но дурманящая. Если съесть кружку этой ягоды, то начинает болеть голова. Она действительно «крушит». Крушина считается ядовитой ягодой, и те, кто не пробовал, боятся ее есть. Помню, абитуриентами работали мы в колхозе на картошке. Я набрал горсть крушины и кинул в рот. Ребята испугались: «Ты что, отравишься!». Я посмеялся. Правда, семечки нужно выплевывать, они очень горькие, а сок – дурманящий. Крушина в сознании у меня каким-то образом связана еще и с любовью...

Может быть, потому, что «а с семнадцати годов крушит девушку любовь», как поется в известной песне.

Большую часть лета мы проводили на речке. Утром я еще сплю, солнце освещает дом, слышу, кто-то зовет: «Витька, айда купаться!». Вылетаю из дому, время, наверное, около одиннадцати, солнце уже высоко, воздух горячий, и мы, собрав всех ребят с нашего конца деревни, бежим на речку – с горы, в овраг. Бежим с криком, гиканьем, сбрасывая с себя на ходу одежду, и, добежав до купального места, бросаем одежду и ныряем. Купание – веселое занятие, тут и кто дальше нырнет, и кто дольше просидит в воде, и подныриванье, и брызганье, чего только нет – даже грязевые ванны вместе со свиньями неподалеку.

Речка наша Каменка небольшая, таких речек по Руси тысячи. В некоторых местах воды по колено и даже меньше, но есть и заводи, глубокие места, где обычно все купаются, там и утонуть нетрудно, иногда такое и случается. Но между тем в ней водится разная рыба – щука, плотва, пескарь, вьюн, караси. Маленьких пескариков мы ловили руками и ели их сырыми, иногда даже без соли. Пескариков у нас зовут вьюнами, а вьюна называют пескарем. Вьюны ловятся редко, и я не любил их, потому что они расцветкой напоминают тритона.

Удочками у нас редко кто ловит.

Однажды я поймал на удочку огромную плотву. Мать сварила мне ее, и я с большим удовольствием ее съел. Рыбалка у нас была двух видов. Наиболее популярная рыбалка осуществлялась следующим образом. Мы перегораживали в удобном месте реку делали земляную запруду. Пока в ней набиралась вода, в речке вода оттекала вниз, обнажая местами дно. Рыба оставалась в углублениях, где мы ее ловили корзинами. Случался вполне хороший улов. Потом плотина прорывалась, и речка входила в свои берега. Мы раскладывали рыбу на несколько примерно равных кучек, кто-нибудь отворачивался, и мы его спрашивали: «Кому?». – «Юрке». Юрка брал свою кучку без обиды, что досталось. «Кому?» – «Володьке».

Эта небольшая речка в половодье разливалась на полкилометра, и мощный поток с ревом шел вниз. Я любил ночью слушать этот шум воды, он будил во мне воображение, мечту о каких-то путешествиях... Вода эта заполняла все наши луга, и таким образом на лугах все брачи могли оказаться с рыбой. Брачами у нас называют множество небольших, но часто очень глубоких прудов, образовавшихся после выемки торфа. Летом в этих брачах мы ловили карасей, щук и вьюнов. Запомнился случай – в каком-то браче, величиной примерно метра полтора на два, я запустил корзину на шесте и вытащил уйму карасей. Бывало и такое. Мужики ходили по глубоким местам с бреднем – у них масштаб был посolidнее.

Я очень любил полую воду, время, когда летят перелетные птицы. Нет более захватывающего зрелища, чем перелет птиц. Особенность наших мест состоит в том, что над нами птицы летят очень высоко, действительно в поднебесье. Стоишь, запрокинув голову, и смотришь, смотришь, пока не заломит шею. Мне и сейчас нередко снятся эти перелеты.

А когда идет полая вода, прилетают бекасы и играют над болотом под барским садом. «Дикий баран» называют у нас эту птицу. Падая с высоты, он играет хвостом, издавая звук, похожий на бляенье барана. Край наш далеко не богатый, поэтому всякая дичь вызывала во мне прилив каких-то сладких чувств. Возможно, это потому, что в детстве я мечтал, когда вырасту, стать охотником. Уехать куда-нибудь поглубже в тайгу и жить там охотой. Помню даже, как изучал карту страны и искал на ней места, где наименьшее количество населенных пунктов. Такие места были в Коми и на реках Зезя и Буря. Вот туда-то я и мечтал переселиться.

Увлечение охотой пошло во мне от чтения литературы о природе. Сначала это был Виталий Бианки, потом Мамин-Сибиряк, Соколов-Микитов, Пришвин, Паустовский, но более всего меня захватил В. К. Арсеньев. Сначала «Дерсу Узала», потом «Путешествие по Уссурийскому краю». Это увлечение я долго изживал в себе, но в детстве охота была моей мечтой. Теперь я даже литературу об охоте перестал читать. Недавно перечитывал своего любимого Соколова-Микитова. Он рассказывает, как ночью на звук выстрелил и убил воробыниного

сычика. Он даже и не знал, кто там, убивать было незачем, а вот взял и убил. Конечно, охотники есть разные. Теперь я охоту признаю лишь как добывание пищи. И никакого спорта.

В детстве я не был слишком жалостливым, хотя никогда не разорял птичьих гнезд. Это было святое. А вот воробьев ловил вместе с другими ребятами. Из воробьев варили суп. Впрочем, не помню, чтобы я его ел. Варили не мы, я лишь помогал кому-то ловить их. Голубей у нас не было принято ловить – это считалось грехом, голубь – птица святая.

А вот кошек и собак мне случалось убивать, причем жестоко, но почему-то хватало на это злобы. Подробностей теперь рассказывать не хочется – стыдно, но и совсем скрывать это тоже нехорошо. Иногда я думаю, не выпусти я из себя в детстве эту жестокость, может быть, она потом сказалась бы в отношениях с людьми. В сущности, эти вольные или невольные мои жертвы стали моим очищением. Может быть, Господь таким образом отвел от меня беду, которая нашла бы меня позже.

Случалось убивать хорей, дикого кота в поле, бессчетное количество сусликов. Рубил голову петухам – выполнял мужскую работу. А однажды мать поручила мне зарезать козленка, конечно, не маленького уже, но и не совсем взрослого козла. Причем этого козленка я пас и постоянно играл с ним, а потом сел на него верхом и перепилил ему горло тупым ножом. Сейчас мне больно писать об этом. Но все это реалии крестьянской жизни. Теперь у меня рука не поднимается ни на кур, ни на кроликов. Но, конечно, все дело в нужде.

Помню долгие бабьи разговоры по вечерам. Когда я был совсем маленьким, мать брала меня с собой, идя к кому-нибудь из соседок. Я скоро утомлялся от этих разговоров и начинал ныть: «Мам, пойдем!». – «Погоди, сынок!» – ласково урезонивала меня мать. И так длилось долго. Эти разговоры были, в сущности, устной литературой и историей деревни. Все, что происходило в деревне и в мире, все находило в них освещение.

Запомнились деревенские гулянья. Раздольные песни. Иногда драки. Мой дружок Иван Иванович Кречетов, по прозвищу Калмык, перешедшему к нему от отца, был знатным гармонистом и играл на всех свадьбах. Ну и ему, как водится, наливали самогонки и до того напоили пацана, что его пришлось откачивать.

К выпивке у нас относились просто: на гулянке пить можно, можно пить немного и для аппетита. Закончив семь классов, я стал работать в колхозе. Мне было четырнадцать лет, и меня послали с бабами на снегозадержание. Чтобы ветром в поле не унесло с полей весь снег, делались в снегу ямы и кучки, которые удерживали снег.

Когда я приходил на обед домой, мать наливала в стакан граммов пятьдесят самогонки, конечно, не первача, первач шел на продажу, и говорила: «Ну, сынок, давай для аппетита!». Аппетит после этого действительно был хороший, хотя он и так был неплохой.

Пили у нас всегда из стаканов и обычно стаканами. В деревне у нас в ходу такая сентенция: рюмочками пьют только пьяницы, а нормальные люди стаканами, – считалось, что если человек пьет понемногу, то он любит этот процесс, смакует. А нормальный человек опрокидывает стакан.

К слову сказать, я свой первый стакан запомнил на всю жизнь. Мне было лет четырнадцать. Племянник моей матери Лешка Попков делил дом со своей матерью, и нужно было сломать кирпичную стену, пристроенную к дому. Попросили меня. Я работал целый день. А вечером меня покормили, налив полный стакан самогонки. Я, как и положено, выпил, но, не дойдя до дому дворов семь, захмелел, голова закружилась, и меня стошнило в зарослях лопуха и чернобыла. Это было сильное впечатление, хотя не скажу, что очень нужное мне или в чем-то обогатившее меня.

Отдельно хочется сказать о школе. В первый класс я пошел в 1949 году, школа была еще семилетка. Потом она стала десятилетней и называлась Веселовской средней школой. Это была школа на несколько сел, даже и для таких больших, как Кулики и Александровка. Когда школа стала десятилеткой, в ней стали учиться ребята из окружающих сел, которые должны были

снимать угол в нашем селе. Мать пустила к нам на постой троих парней из Куликов. Платили они символическую сумму, но и это было для нас подспорьем. В школу я шел охотно, ждал начала учебного года, а получение в школе учебников было настоящим праздником. Когда я научился читать, то читал все учебники следующего года заранее, как только они попадали мне в руки.

Школа стояла на горе, рядом с кладбищем. До революции тут была церковь, которую перестроили под школу.

В начальных классах у нас была учительница Марина Ильинична, я ее очень любил. Когда мы с нею шли из школы, а нам было по пути, я всегда нес ее портфель, и мне это было очень приятно. У нее было большое сердце, и мне было ее особенно жаль. Но однажды я ее сильно огорчил. Была такая история.

Я учился во втором классе. Как-то шел в школу, пройдя овраг, стал подниматься к школе, а впереди меня шли Володя Толстопятов из четвертого класса и Валя Ватолина из моего класса. Сверху мимо меня прошла медсестра из больницы. Я обернулся, посмотрел на ее волосы, убранные в кичку, достал самый большой помидор и запустил ей вслед. И на свою беду попал прямо в голову. Медсестра оглянулась и крикнула, что она меня знает и скажет об этом матери и в школе. Ребята, шедшие впереди меня, тоже видели это.

Не знаю, как и от кого, распространился слух об этой истории, но после второго урока кто-то сказал мне: «Денис, твоя мать пришла в школу!» – так меня звали потому, что подворная фамилия у нас была Денискины. Услышав эту новость, я прямо с урока выпрыгнул в окно, которое было хоть и на первом этаже, но весьма высоким, и побежал через овраг к барскому саду. За мной побежали Марина Ильинична и полкласса. Первым меня догнал парень, который был много старше меня и учился в четвертом классе. Мы с ним постоянно дрались на кулаках, он был сильнее меня, но я никогда ему не уступал, а боксировали мы только в грудь. Он поймал меня и удерживал, пока не подросла Марина Ильинична. Она хотела вернуть меня в школу, а я стал выкручивать ей пальцы, наконец она от меня отступилась. Думаю, я очень ее огорчил.

В этот вечер я допоздна не шел домой, а когда пришел, мать взяла веревку, которой она путала ноги корове, когда доила ее, и этой веревкой стала меня стегать. Я забился под кровать, а мать стала этой веревкой, на конце которой был крупный узел, доставать меня под кроватью, била куда ни попадя и попала мне по глазу, отчего я отчаянно взревел. Она спросила, что со мной, я ответил – в глаз попала. После этого мама перестала меня бить и сказала: «Иди есть тюрю!». Я вылез. Мама налила в миску молока, накрошила хлеба. Так закончилась эта история.

В начальной школе я учился только на пятерки. Но один раз я плохо выучил басню Крылова и получил тройку. Это меня настолько расстроило, что я долго плакал. За все четыре года начальной школы я только два раза получил не пятерку. Второй раз был таким. Мы сдавали за четвертый класс экзамены по арифметике. Решали задачи. Все было хорошо, я легко все решил. После уроков я вернулся домой, и мы с соседями – Ваней Зебревым, парнем старше меня на четыре года, и его сестренкой Тамарой, моложе меня года на четыре, – качались на качелях в пустующем доме Соломатиных. Вербки были укреплены на балочных штырях, дом был просторный, диапазон качания был широкий – мы летали от потолка до потолка. Качались по очереди. Подошла моя очередь качаться, Тамара закапризничала, стала проситься вне очереди, а я не уступил, и стали качать меня. Вдруг веревка оборвалась, удар затылком, Ваня подбегает: «Витя, что с тобой?» – и с этими словами я теряю сознание, проваливаюсь в черноту.

Сколько я был без сознания – я не знаю. Потом стали всплывать какие-то звуки, всплыл в сознании экзамен по арифметике, и я вдруг ясно осознал, что в одной из задач допустил ошибку, причем ясно понял, какую именно. Постепенно сознание ко мне вернулось. За экзамен я получил четверку. Это был второй раз за четыре года.

Уже в начальных классах мне стали нравиться девочки. Нравились разные, но все красивые. К одной из них я стал всячески проявлять внимание. Это была Ватолина Валя из Нового

Села. Однажды мне каким-то образом удалось завладеть ее носовым платком, на котором в одном из уголков были вышиты инициалы. Я решил, что этот платок каким-то образом свяжет нас. Так считалось. Вечером, когда я пришел домой, то увидел свою мать и соседку тетю Анюту сидящими на бревнах перед домом. Я подошел к ним поближе. Мама говорит: «Ты где это ухитрился штаны измазать?!». – «Нигде!» – говорю. – «Ну-ка повернись!» – попросила она. Я повернулся к ней спиной, и мама вынула из кармана этот платочек. Так я потерял свой любовный трофей.

Сколько я помню себя, я всегда был в состоянии влюбленности. Не знаю почему, но это чувство владело мной по крайней мере класса со второго, то есть с десяти лет. А самое первое чувство к девочке я испытал пяти или шести лет. У меня было воспаление среднего уха, и мать повезла меня в больницу в Моршанск. Как сейчас вижу картинку: зима, дети играют в снежки, лепят снежную бабу, и какая-то девочка оторвалась от своей игры и смотрела на меня, а я проходил мимо. И я тоже смотрел на нее, не отрываясь, а мать тянула меня за руку, чтобы я не стоял. Так я и уходил с головой, повернутой назад, а она все стояла и смотрела. Это невозможно объяснить здраво, что она увидела во мне и что я в ней увидел, но я испытал какое-то сладкое и тоскливое чувство чего-то красивого и несбыточного. И это чувство преследовало меня всю жизнь.

В школе я увлекался разными девочками начиная со второго класса. Особенно сильное чувство я испытывал в пятом классе к Кате Лопуховой, мы ее звали Катерек. Она не была красавицей в традиционном смысле, но в ней была какая-то страшная притягательность, меня к ней тянуло, как магнитом. Я приходил в школу первым и ждал ее у входа. Я сидел с моим дружкой из Колоколовки Шуркой Лопуховым по прозвищу Карька на предпоследней парте, а Катерек со своей подругой Тamarой Почивалиной – на последней. Или наоборот. Едва заканчивался урок, как я набрасывался на нее, заваливал ее где-то за партами, у голландки, и целовал. Она, конечно, сопротивлялась, но едва ли обижалась на меня. Во всяком случае, не жаловалась. Это было сильное увлечение, которое длилось несколько лет. Я, наверное, не был ей противен, но все-таки увлечение было, кажется, односторонним. Больше с моей стороны. Сейчас я думаю, что и слава Богу, а то я так и застрял бы в Хомутовке, уж очень сильно я ее любил.

Она была, конечно, не единственной. Некоторое время я увлекался Шурой Елизаровой из Кочетовки, а в двадцать лет влюбился в ее сестру Лиду Елизарову – даже писал ей стихи, что-то вроде такого: «Лида, Лида, ты ли это, Лида...» и так далее.

Теперь-то я понимаю, что она ни в чем не виновата, это любила моя душа. А если есть желание любить, то всегда найдешь кого. Я и до сих пор не освободился от этой сладкой привычки – влюбляться в кого-нибудь, кем-нибудь бредить. Иногда она приходит во сне – сладкая, очаровательная, и ходишь под впечатлением этого сна день, другой, неделю. А в жизни она совсем не такая. И наконец отделяешь сон от реальности, но это удается не сразу.

Было еще недолгое, но сильное увлечение Лидой Кречетовой, девочкой, приезжавшей в гости из Челябинска. В то время показали фильм по роману Каверина «Два капитана», я отождествлял ее и себя с героями этого фильма. Но Лида была в деревне недолго. Она уехала, еще некоторое время помечтал я о ней, а потом сердце обратилось к тем, кто был рядом. А и рядом были не хуже. Шура Елизарова из Кочетовки доводила меня до бреда, но к ней я как-то боялся подходить.

В детстве меня очень будоражила песня на слова Н. А. Некрасова «Что ты жадно глядишь на дорогу, В стороне от веселых подруг». Это очень точное наблюдение за жизнью юной крестьянки. В этой песне столько точного и жуткого о судьбе русской девушки, что сердце щемит. Почему я вспомнил об этой песне? Мне кажется, все наши девушки находились в этом состоянии ожидания какого-нибудь заезжего корнета. И многих наших деревенских красавиц увозили на сторону какие-нибудь заезжие сердцееды. Нужно родиться в деревне, чтобы понять

всю точность, глубину и трагедию «Станционного смотрителя». Гений Пушкина позволил ему увидеть со стороны то, что можно увидеть только изнутри.

Было у меня еще увлечение – Верка Басманова, вот ее то и увез какой-то залетный корнет, то ли узбек, то ли туркмен, но о ней я скажу чуть позже...

В начальных классах мы ходили в школу во вторую смену. Я очень любил сентябрьские и октябрьские дни. Погода обычно стояла солнечная, ясная. Особенно мне понравились дни, когда на ясном голубом небе тянулись белые паутинки, на которых паучки расселялись по всей земле. Это удивительная картина. Школа стояла в окружении вековых вязов, кленов и тополей. В сентябре листва начинала желтеть и опадать, под ногами листья шуршали так упоительно, раздумчиво и умиротворяюще. С кленов срывались и кружились семенные летучки. Приятно было приходить заранее, чтобы еще до уроков потолкаться и побегать. Запомнилось яркое желтое пятно – Тоня Чуфистова в ярком плюшевом пальтишке. Тоня была очень красивой девочкой, но что-то мешало ухаживать за ней. Кажется, у нее было ночное недержание, а в деревне все ведь обо всех знают.

Надо сказать, что в целом, конечно, народ у нас невежественный и со всякого рода предрассудками. Например, если парня не взяли в армию, то он дефектный и его шансы как жениха значительно падали. И эту метку он носил всю жизнь. Конечно, деревня была отражением той жизни и политики, какая была в государстве в целом.

Так, у нас с подозрением относились к людям, которые были в плену. Помню, как какой-то мужик вернулся из лагеря и шел домой и бабы указывали на него, как на прокаженного: «В плену был!» Но в их голосе я чувствовал не только осуждение, но и сочувствие и даже, может быть, зависть. Любая бы предпочла вместо похоронки дожидаться живого мужа из плена.

В то время вообще даже мы, дети, чувствовали всеобщую подозрительность и шпиономию. Многое рассказывали шепотом и только самым доверенным подругам или друзьям. Меня самого потом, когда мне было уже двадцать лет и я попытался ходить по деревням для расширения жизненных впечатлений, в райцентре Сосново приняли за шпиона и сдали в районное отделение милиции. Шептались потому, что помнили случай, когда мужик спел частушку то ли про председателя, то ли про бригадира и на следующий день его увезли. Больше он в деревне не появился, и сведений о нем никто не имел. Помню какие-то слухи про врачей-отравителей. Помню, как все замирали, слушая по радио на столбе сводки о здоровье Сталина, испытывая опасения войны в случае его смерти. А потом страна погрузилась в какой-то мрак в связи со смертью вождя. Я во время этого события, когда новость разнеслась по селу, катался с горки на лыжах и продолжал кататься, независимо от этой новости. В то время я учился в четвертом классе.

Каким-то образом просочился слух, что Сталин вовсе не икона, что на его совести много всякого. Не знаю, почему именно я, но однажды на перемене я в нашем классе срезал портрет Сталина, висевший на стене. Пришла учительница, задала вопрос: «Кто это сделал?». Не помню, признался я или нет, но портрет обратно не повесили и никаких последствий не было. Во всяком случае, в памяти ничего такого не осталось.

К предрассудкам и невежеству я бы отнес и обычай драться деревня на деревню или даже село на село. Причем драки эти случались непонятно по каким причинам. Вражды как таковой вроде бы и не было, но все же какая-то неприязнь таилась. Однажды, когда я учился в пятом классе, хомутовские ребята решили дать бой колоколовским. Выбрали для этого место, на горе перед бывшим барским садом, назвали его Куликово поле и договорились в какой-то день после уроков встретиться там стенка на стенку. Использовали и подручные средства: плетки, цепи. Я нашел где-то отломанный рог от вил.

На занятиях в школе я сидел со своим дружкой Шуркой Карька из Колоколовки, мы с ним обсуждали предстоящее сражение. После уроков каждый побежал со своими на место сражения. Когда все началось, мне как раз Шурка и подвернулся и я его огрел этой железкой

по ладони. Откуда-то из засады, устроенной в кустах сирени, выскочили взрослые парни на подмогу и тем и другим. Хомутовские одержали верх, и колоколовские бежали. А мы потом долго и возбужденно обсуждали, кто как и кого одолел. А вообще все это идет от каких-то старых традиций. Когда я потом учился в Челябинске в строительном училище, то там мы дрались училище на училище.

С пятого класса учеба приняла совсем другой характер. Мы, четвероклассники, оказались за одной партой с третьегодниками, то есть с теми, кто сидел в одном классе три года. У этих переростков не было расположения к учебе, они просто проводили в школе время, занимаясь всякого рода шалостями и пакостями. Сосредоточиться на занятиях было совершенно невозможно. Я стал получать отметки 5, 2, 5, 2... Получив двойку, я на следующем занятии ее исправлял на 5, а на следующий раз опять получал двойку. Так прошел пятый класс, потом шестой. В пятом классе я сидел за одной партой с тем самым Киричем, о котором я уже упоминал. Когда мы сдавали экзамен по русскому языку, Кирич попросил меня помочь ему поскольку с русским у меня было все же отлично. Мы сидели на первой парте, но я ухитрился все ему исправлять и до того увлекся, что Кирич получил пятерку, а я четверку, и это было мне очень обидно.

Но постепенно я по всем предметам съехал на тройки и семилетку закончил исключительно на тройки. Поведения я стал совершенно отчаянного, директор школы Леонид Ермолаевич Тарабрин неоднократно хотел меня выгнать за поведение, но мать его просила не делать этого. Не знаю, но почему-то ученики не любили его. Наверное, за то, что он был длинный и худой, ему дали прозвище Дубина и просто Ленид. Однажды, еще в четвертом классе, я вышел в коридор и, приоткрыв дверь на улицу, увидел, что идет директор и, может быть, зайдет в класс. Я отпрянул от двери и, крикнув: «Ленид!», влетел в класс. Следом за мной ворвался Леонид Ермолаевич и, схватив меня за шиворот, отволок к себе на квартиру, а жил он в этом же здании, в другой половине, и поставил меня в угол.

Многие из учеников были изрядными оболтусами, не желали учиться и вообще были уже переростками, иногда вступавшими с учителями в рукопашную. Однажды, помню, была такая стычка у директора с парнем по прозвищу Камай. Директор хотел его огреть, но тот удачно увернулся, и Леонид Ермолаевич сделал смешной оборот вокруг оси.

К слову сказать, этот Камай был сыном колодезника и усвоил его ремесло. Однажды, когда мне было двадцать лет, я приехал в деревню в отпуск из Челябинска и разговаривал с Камаем, который чинил наш колодец в Хомутовке. В это время к нам подошел Леонид Ермолаевич, и мы с ним разговорились по-человечески. А вообще он был, конечно, интересной личностью. Позже я узнал, что он учился в какой-то церковноприходской школе вместе с Есениным, но в разных классах. Может быть, в Спас-Клепиках, не знаю. Об этом говорили уже потом.

А вот его жену, Екатерину Григорьевну Тарабрину Катерюшу как ее все называли, я просто обожал. Она читала нам былины и делала это с такой душой, что я мысленно переносился в ту легендарную и полумифическую эпоху становления Киевской Руси и жил всей этой жизнью. Любовь к литературе Екатерина Григорьевна привила не только мне. Ее уроки вспоминает другой ее ученик, профессор Мичуринского педагогического института Василий Иванович Попков, учившийся тремя классами старше. О судьбе Василия Ивановича Попкова я узнал из «Словаря» Сергея Чупринина, где он указан как член Союза российских писателей. Об уроках Екатерины Григорьевны Попков написал в своей книге «В «Лесном Воронеже» очищаемся словом».

С Василием Попковым у меня связаны две истории. Однажды мамина золовка, тетя Таня Комгалева, куда-то уезжала и боялась, что у нее в саду оборвут сливу. Она попросила меня покараулить сад. Я добросовестно его караулил, но сам я слив никогда не пробовал и не удержался от соблазна. Набил сливами карманы, сел на завалинку около ее дома и стал поедать их.

Сливы были еще незрелыми, но мне так нравилось это вкусное и экзотичное название «слива», что я ел их, не понимая, что они еще зеленые. За этим занятием тетя Таня и застала меня. «Черт, что же ты делаешь, они ведь зеленые! Я ведь тебя сторожить поставила, а не есть их!» Я слушал ее, но продолжал есть. В это время подошел Васька Попков, посмотрел на это и изрек крыловскую сентенцию: «А Васька слушает да ест!».

В другой раз Вася попросил меня подстрелить грачей, чтобы их тушки выставить у просяного поля. Дело в том, что у его дома испокон века росли высоченные тополя и ежегодно они наполнялись грачиными гнездами. Соответственно, они делали налеты на их огород, который был поблизости. Василий попросил у нашего школьного преподавателя физкультуры и военрука мелкокалиберную винтовку для этой цели. Как ни странно, преподаватель доверил ему и дал три патрона, а я как раз был неплохим стрелком. Три патронами двух грачей я снял. Не знаю, помогло ли это ему сохранить урожай или нет, но почему-то запомнилось мне это на всю жизнь.

Года три назад я списался с Василием Ивановичем, мы обменялись с ним воспоминаниями и книгами. В детстве он был для всех примером – шел на золотую медаль, хотя окончил школу с серебром. В этом смысле он был, конечно, белой вороной среди школьных дуралеев. Впрочем, те, кто учился уже в старших классах, учились хорошо, старались, тем более те, кто был из других сел. Ну, а оболтусы по большей части ограничивались семилеткой. Я почему-то потерял тогда всякое желание учиться, решил работать в колхозе. Мать уговорила директора взять меня в восьмой класс. Директор в конце концов согласился, но при условии, что я в сентябре буду вместе со школьниками работать в колхозе. Я отработал. Но когда я пошел в школу, то испытывал некоторое стеснение и оттого, что уже пропустил какие-то занятия, и оттого, что смотрел на формулы и ничего не понимал в них. Физику и математику преподавал Кречетов Григорий Иванович, по прозвищу Штрын. Потом он стал героем рассказа «Штрын и Тарзан». Из учителей школы помню еще жену Григория Ивановича Елену Сидоровну Кречетову – она преподавала историю. Очень строгая была. Мы ее недолюбливали и боялись. Недавно Василий Иванович Попков написал мне, что она еще жива, дай Бог ей здоровья.

Все остальное в памяти смутно. Восьмой класс я не закончил. Мать огорчилась и послала на работу в колхоз. По возрасту и по небольшому моему росту я был мало к каким работам годен. Помню только, что недели две ходил с бабами на снегозадержание...

Челябинск

Первые годы

Как сейчас в глазах стоит картина: станция Хлудово, я стою в дверях тамбура, поезд набирает скорость, а мама бежит вслед ему и машет мне, машет... И я машу рукой до тех пор, пока вижу ее. Мне жаль маму – она остается одна в деревне, в родной моей Хомутовке, где я прожил пятнадцать лет. Сейчас не могу вспоминать эту картину без слез. Молодость бесчувственна – не помню, были ли у меня на глазах слезы, едва ли, а если и были, то быстро высохли. Все-таки я ехал в большой город, в будущее, которое рисовалось мне светлым, да и вся жизнь была впереди.

Мама отрывала дитя от сердца, понимая, что в большом городе со мной все может случиться, но и сидеть в деревне было бесперспективно, как у нас говорили в таких случаях – цобам хвосты крутить. Цобами у нас называли волов, на которых пахали или возили телеги, бестарки. Почему так называли их – не знаю. Может быть, оттого, что, когда их погоняли, восклицали: «Цоб-цобе!».

У меня было семь классов образования. Семилетку я закончил в прошлом году, год не учился, работал в колхозе на снегозадержании, еще на каких-то работах. Ничего хорошего ожидать от жизни не приходилось.

Жизнь в нашем селе была нелегкой, время было послевоенное. Особенно угнетала нас проблема добывания топлива. Торф был единственным топливом, которым мы пользовались. За многие годы жители села изрезали все луга, и находить места, где можно было бы нарезать торфа, становилось все труднее и труднее. Ни об угле, ни о дровах у нас и речи никогда не шло, да если бы их и привезли, матери купить их было бы не на что.

Помню июнь 1957 года. Мы режем торф в каком-то овраге, название которого я теперь забыл. Съём земли до торфа очень большой. Там, где есть мужики, они режут торф специальным ножом и вынимают его специальной холявкой. Кизяки получаются ровные, кирпичиками.

У нас за мужика – мама, она режет торф обычной лопатой и кидает его мне наверх. Я ловлю и отношу его в штабель на сушку.

И вот проходит знакомая мамина, кажется, дальняя родственница, и фамилия у нее – Кречетова. Она приехала из Челябинска на побывку.

«Маришка, – говорит, – давай я заберу парня с собой. Иван работает мастером в ремесленном училище, пристроит его. Сначала у нас поживет, а там и в училище поступит».

Этот день остался у меня в памяти на всю жизнь. Жаркий июньский день. Я поднимаюсь из оврага в поле, где цветет рожь, иду подальше от глаз людских, потому что нужда приспичила, присаживаюсь и скрываюсь во ржи с головой. А над головой жаворонок в небе заливается безудержно. Так поет, что к горлу подступает, дыхание перехватывает от восторга.

Не помню даже – дорезали мы с матерью этот торф или нет. Через день-два или через неделю собрала меня матушка, как могла, и выпустила воробушка в мир.

Первое время я жил в районе ЧТЗ¹, у этих родственников. Глава семьи Николай, по прозвищу «Мартын», был без ноги, он много работал, я его и видел-то мало. В семье были дети – старшая дочь Лида и сын Виктор, а по фамилии они тоже Кречетовы. Так что в Челябинске живет мой полный тезка Кречетов Виктор Николаевич, он был немного моложе меня, а Лида была моей ровесницей или на год-два моложе. Лида однажды приезжала в Хомутовку, и я тогда

¹ ЧТЗ – Челябинский тракторный завод.

влюбился в нее по уши. Соответственно, и жил я у них в приподнятом эмоциональном состоянии.

Наверное через неделю за мной приехал брат Иван, а может быть, меня отвезли к нему, не помню точно, но что он не испытал восторга от моего появления в городе – это осталось в памяти.

Сам он жил в общежитии при ремесленном училище, где работал мастером профессионального обучения. У него был друг, тоже мастер, и жили они в одной комнате. К этому другу приехал племянник, которого тоже нужно было устраивать в ремесленное училище. В этой же комнате поселились и мы – спали на полу. Кончилось тем, что мы оба поступили в строительное училище № 42, где-то в районе КБС или дальше, неподалеку от ТЭЦ. Может быть, у района было и свое название, но оно выпало уже из памяти, потому что с того времени прошло полвека. Племянника звали Володя Кононов – он поступил учиться на слесаря-сантехника, а я – на плотника. С этим Володькой у меня связаны разные воспоминания, но не очень хорошие.

Мой брат и его дядя бросили нас в «автономное плавание». Иногда удавалось по талонам победать в столовой училища, в котором они работали, но большей частью еду приходилось готовить самим. Денег для этого оставляли нам маловато. Володя был 1941 года рождения, то есть на год старше меня, вырос в городской атмосфере, кажется, Джезказгана, и парень он был боевой. Он организовал добычу продуктов. Картошку и капусту мы добывали на городских огородах. Володька хорошо готовил борщ, а я вырос в деревне, где люди не знали даже слова «борщ». Помню, на каком-то уроке истории речь шла о восстании на «Потемкине» и мы не понимали фразу: «Ребята, в борще черви!». Мы спрашивали учительницу, что такое «борщ», и она нам отвечала, что это вареное мясо. Так что без своего друга я бы никогда борща не сварил. Старшие о нас почти не думали, денег почти не давали, сами гуляли, а так как работали мастерами, то неплохо зарабатывали. Володька говорит: давай возьмем у них денег, они все равно ничего не помнят. Достали каждый у своего. Купюры крупные, кажется, по пятьдесят рублей. Брат с дядей мирно спали. Я застыдился и вернул своему. Володька же вырос в городе – привык к разному и воровства не чуждался, хотя не был вором постоянным. Но если что-то подвернется, он сопрет без зазрения совести.

Однажды мы ездили с ним на толкучку. Где-то в стороне от дороги и от самой толкучки стояла грузовая машина с открытой кабиной. Он заглянул туда и, увидев там костюм, быстро прибрал его к рукам. Я переживал это, будто сам украл. Потом, когда мы учились в строительном училище, он щеголял в этом костюме, а мы были всегда в форменной одежде.

Вспоминаю разные эпизоды из нашей с ним жизни. Однажды жарким летним днем лежали мы с ним на пляже в ЦПКиО. Потом соревновались в беге. Мужчина лет сорока или пятидесяти – тогда я не очень-то различал возраст – дает нам секундомер, редкий и красивый предмет. И эта его доброта показалась нам подозрительной. Может быть, шпион – такие были мысли. А иначе как мы могли объяснить его расположение к нам. «Мы ему зачем-то нужны?!» – думали мы, а потом потихоньку сбежали, вернув секундомер.

Неподалеку от ЦПКиО был склад немецких танков для переплавки, десятка два – конечно, мы их все облазили, изучили. Тут были наглядные уроки ближайшей истории, с окончания войны прошло двенадцать лет. Тогда мне это казалось много. На самом же деле – это как вчера.

Однажды мы с Володькой лежали в березовом лесочке, в районе ЧМЗ. У него на тыльной стороне ладони была наколка – полукруг с отходящими от него лучами, что означает восход солнца, а под солнцем надпись «Сибирь». Я тогда, с детства еще, мечтал уехать в Сибирь или на Дальний Восток, в тайгу, и стать охотником. И вот я гляжу на его руку и мечтательно говорю нараспев: «Сиби-и-рь!..». И вдруг получаю удар в лицо – это ему показалось, что я издеваюсь над ним. А была чистая лирика.

Некоторое время я жил в семье товарища моего брата и нашего дальнего родственника, земляка, Владимира Кречетова (подворная фамилия – Лётов). Володя работал начальником участка на каком-то заводе, был женат, жена у него была красавица – Ниной звали. Володя приходил домой поздно, разумеется, не с работы, а с какой-то гулянки. Квартира была однокомнатная. Я спал на полу, а Нина рядом на кровати. Я испытывал какое-то томительное чувство от этого соседства. Однажды мужа не было до глубокой ночи, можно сказать, до утра. Нина звала меня к себе погреться, но я отказался. Такой был робкий и стеснительный. А потом об этом жалел. Нина была родом из Кургана, к ней приезжала то ли сестра, то ли племянница моего возраста, то есть пятнадцати лет, и мы с ней спали на полу под одним одеялом. Так я боялся даже прикасаться к ней. Тристан клал между собой и Изольдой меч, а мне и меч не был нужен. И это при том, что мысленно я, конечно, хотел женской близости. Но подступить к ней никак не решался.

Наверное, Нина дала повод мужу для каких-то его претензий. Они разошлись, но фамилия наша за ней осталась. Позже она заходила к нам на улицу Пржевальского (дом 30) в гости. Личная жизнь ее в дальнейшем не устроилась, и, что называется, она пошла по рукам. Кончилось все это тем, что однажды по пьянке очередной сожитель убил ее ударом бутылки по голове. Но это было много позднее, когда я уже жил в Ленинграде.

Иногда я думаю, что, если бы ее звали Светланой, ее жизнь могла бы сложиться иначе. Нина – имя какое-то печальное, я не знал ни одной Нины со счастливой судьбой. Жаль, что я так и не узнал, что она из себя представляла. Но красивая была, во всяком случае, так мне тогда казалось.

А потом была учеба в строительном училище.

Строительное училище № 42

Два года в строительном училище не много мне дали в интеллектуальном развитии, зато я получил некоторую физическую подготовку, участвовал в районных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки – тогда это было модно.

Немного о жизни в училище. Учились и жили мы в одном здании, трехэтажном, с бомбоубежищем в подвале, где у нас были производственные мастерские.

Я мечтал стать хорошим плотником, обожал топор, в том числе и метать – это я делал лучше всех. Забегая вперед, скажу – после окончания училища я распределился на местный лесозавод и однажды на спор бросил топор в дощатую стену цеха, где работали люди, топор рассек доску, влетел внутрь, и слава Богу, что застряло топориче. Могла бы быть беда.

Помню, на выставке лучших изделий учащихся было выставлено изготовленное мною топориче. Я смотрел на витрину и любовался не только своим изделием, но и фамилией, и тихо гордился.

Контингент учащихся был пестрым: большинство ребят были жители Челябинской области и небольших городов – Златоуста, Миасса, Копейска и других. Трое были, как и я, тамбовские, причем двое из соседнего села – Александровки. Познакомившись, мы сразу стали друзьями. Тогда я впервые почувствовал силу землячества. Ни при каких других обстоятельствах мы бы не стали друзьями, а здесь мы сразу как бы объединились. Один из них, Боря Крюков, был слишком вспыльчивым, хотя человеком хорошим. Другой, Володя Головачев, с которым мы были особенно дружны, был человеком веселым и изрядным пакостником. Он любил сотворить какую-нибудь шкоду. Две из них заслуживают упоминания.

В сентябре, сразу при поступлении, пока наше трехэтажное здание не было сдано в эксплуатацию, мы жили в одноэтажном бараке. С нами учился рыжий высокий парень из Челябинска Геннадий Пиняжин, 1943 года рождения, со временем ставший оперным певцом, добрый малый.

Вот с ним Володя Головачев разыгрался, и они стали бегать по спальне, прыгая через кровати, и когда Пиняжин догнал этого Головачева, тот схватил со стола большой граненый графин и опустил его на лоб Пиняжину. Как ни странно, но графин разбился, а пострадавший отделался шишкой. О Геннадии Пиняжине я скажу чуть позже – он заслуживает этого. А сейчас вернусь к моему земляку.

Однажды во время зимних каникул, когда все местные разъехались по домам, мы, тамбовские и детдомовские ребята, которых в нашей группе было человека три, бездельничали в спальне, скучая в ожидании обеда. Ожидание обеда было постоянным состоянием, которое никогда не проходило, даже если мы были чем-то заняты. Так вот, Головачев от скуки взял гаечный ключ и стал непонятно зачем простукивать батареи горячего отопления. Не найдя в них ничего для себя интересного, он встал на тумбочку и постучал по вентилю где-то под потолком. Вентиль почему-то сорвался, и струя кипятка напором в четыре атмосферы стала заливать комнату. Пока мы нашли замполита, пока он отыскал где-то на чердаке перекрыва- тель и отключил все отопление, вода, конечно, была уже на нижних этажах. Разумеется, дело было в характере. Никому, кроме Головачева, не пришло бы в голову обстукивать трубы.

Позже, уже после окончания училища, Володя Головачев переучился на шофера. Однажды я попросил его отвезти мне дров с лесозавода, где я работал, в район ЧМЗ², где в то время уже жили брат с матерью. Дело было осенью, я сидел рядом с ним в кабине, в каком-то месте он прижался к тротуару и окатил из лужи какую-то женщину. Я спросил, зачем это?

² ЧМЗ – Челябинский металлургический завод.

«Люблю, – говорит, – особенно когда краля какая-нибудь расфуфырится, а я раз!.. – и нету меня». Мне это не понравилось, но я давно знал его пакостливый характер.

Между прочим, у него, в соответствии с фамилией, была огромная голова, привлекательная, на женский вкус, улыбка с ямочками, губки бантиком и неотразимые серовато-голубые глаза. В училище учились девушки-штукатуры. Они были, конечно, такие же необразованные, как и мы, но весьма привлекательные – им было по шестнадцать, семнадцать лет. Так Головачев пользовался среди них большой популярностью, с кем-то у него был роман. Не помню, из-за него или из-за кого-то другого, одна девушка выпила бутылку уксуса, и ее на «скорой» увезли откачивать. Спасли.

Я в это время тоже страдал по девушкам, но предмет моих страданий был вне нашего училища. Была в округе красавица, всех сводила с ума, как местных, так и ребят в училище. Звали ее Людмилой, у нее была еще подруга – зеленоглазая татарка Дина. Эта Люда стала героиней моего рассказа «Кони-лошади». Летом мы купались в местном карьере – веселейшее было время, праздничное. Однажды мне удалось удачно поднырнуть и положить руку на ее лоно. С тех пор у нас с ней негласно установились особые отношения. Но это не мешало мне мечтать о Шуре Елизаровой из Кочетовки, которой я был сильно увлечен. Однажды на занятии по спецтехнологии я размечтался о ней и написал стихотворение, к ней обращенное. Это было второе стихотворение, написанное мною. Преподаватель спецтехнологии, заметив, что я, вместо того чтобы слушать его, что-то сочиняю, подошел ко мне, взял мой листок. Сопротивляться я не посмел после того, как однажды он вынес ослушника из класса на вытянутой руке, схватив его за шиворот. Вся группа выслушала мое стихотворение, но какой-либо реакции я не запомнил.

Мы в то время были в таком возрасте, когда половые проблемы всех нас волновали. Каждого по-своему. Был такой случай, кажется, на уроке политических знаний. Занятия вела молодая преподавательница лет двадцати пяти, видимо, еще невинная девушка. Курский паренек, гармонист Степка С, прямо на уроке достал свой весьма внушительный инструмент и стал мастурбировать у нее на глазах. Увидев это, она заплакала и убежала из класса. Мы все заступились за нее, осудив его поведение, зашикали на него, но он, кажется, не очень смутился и не понимал, что же плохого он сделал...

Бывали и другие курьезы. Был в нашей группе парень – Т. К., детдомовец, которого уже развратили. Иногда он на кровати вставал на четвереньки и призывно кукарекал, крутя ягодцами и похлопывая по ним. Мне как деревенскому парню это было дико, тут я впервые узнал, что бывает в жизни и такое.

В училище обучались люди разных национальностей: русские, немцы, татары, башкиры, лишь евреев не было. Были еще мордва. Мы не разделялись по национальностям, но среди нас было много детдомовцев из Белоруссии, чьи родители погибли во время войны – они едва ли любили немцев. Я тоже с детства не различал немцев и фашистов – все они были фрицы, все фашисты. В этом я вырос. В училище мы были все терпимы друг к другу и почти никогда не говорили о национальном, но все-таки знали, кто какой национальности. С нами учился на плотника рослый немец Геер Гарри Эрнст Оттович. Мы были с ним в приятельских отношениях, которые однажды ненадолго подпортились. Как-то зимой мы вернулись с практики голодные и замерзшие, ринулись в столовую. Почти одновременно мы вчетвером сели за свой стол, и этот Геер вдруг выхватил у меня тарелку, а мне подсунил свою, в которой каши было чуть меньше. Сообразив это, я воскликнул: «У-у, фашист!», на что через весь стол протянулась его длинная рука к моему носу. Но я как-то сразу понял, что неправ, обозвав его фашистом. Он, конечно, поступил неправильно, но он лишь немец, а не фашист. Так же поступить мог и любой из нас. Я не ответил ему, но не потому, что он был сильнее. Мне случалось бросаться в драку и в более отчаянном положении. Его удар я просто принял как урок интернациона-

лизм. Позже мы были с ним во вполне терпимых и даже приятельских отношениях. Челябинск вообще город разных национальностей.

У меня установились дружеские отношения с парнем по фамилии Цепок, имени его теперь уже не помню, с виду он был не вполне русский, но об этом мы с ним не говорили. А приятельство мы с ним свели в библиотеке, где я читал какую-то книгу об охоте. Увидев это, он спросил, охотник ли я, на что я ответил, что хотел бы стать охотником. Он сказал, что тоже любит охоту, что дома у него есть ружье. И вот однажды он взял меня к себе в гости на субботу и воскресенье. Мы пошли с ним на охоту. Он стрелял несколько раз уток-нырков, но не попал. Мне он выстрелить не дал ни разу. Я обижался, но поделаться с этим ничего не мог. Возвращались мы с ним мимо колхозного двора, где, между прочим, переваливались упитанные домашние утки. Он хлопнул одного селезня, положил его в рюкзак, а дома отдал матери, сказав, что вот одного удалось подстрелить. Мать, ни слова не говоря, будто не понимая, что селезень колхозный, взялась щипать «дичину». Такие нравы мне не понравились, но я понял, что от «охотников» можно ожидать всякого. Дальше наша дружба не стала углубляться.

В библиотеке училища я впервые увидел телевизор. Памятно, что тогда же мы ночью наблюдали спутник земли.

Большую роль в нашей жизни играли наши мастера. Совсем недолго мастером был Иван Жилин, которого мы все любили, но он вскоре уволился. Потом пришел молодой мастер, старше нас лет на пять-шесть. Он был с нами запанибрата, все нам разрешал, участвовал в наших играх. Он пробыл недолго. Наше училищное руководство увидело, что дисциплины в группе никакой и чем все это кончится – неизвестно. На смену ему пришел помор, бывший пограничник, Мазанков Виктор Николаевич. Большинство из нас были от него в восторге. Он хорошо знал свое ремесло и учил нас приемам борьбы, какие сам усвоил на службе. Между прочим, он служил в Челябинске-40³. С нашей помощью он построил себе шлакобетонный дом в районе Фатеевки. В течение недели он делал опалубку, заготавливал материал, а в воскресенье несколько человек, его любимцев или у кого он был любимым, добровольно шли к нему работать. И делали это с энтузиазмом. А после работы он выставял водку с закуской.

Я очень его любил, и он любил меня и моих тамбовских земляков. Ему я обязан тем, что после окончания училища меня распределили на лесозавод в Челябинск, а не в какую-то глушь, куда я собирался поехать. Он мне сказал, что ничего там хорошего нас не ждет – и, в общем, нашел правильные слова. Летом 1958 года, когда мы ехали из Челябинска в Касли по Свердловскому шоссе, километрах в сорока от Челябинска нас остановил военный патруль. Проверили документы. Далее мы въехали в полосу где лес стоял с почерневшими свернувшимися листьями, а у дороги соблазнительно краснела земляника. Полоса была не очень широкой, всего несколько километров. Это был результат взрыва и реактивного выброса в атмосферу, произошедшего, кажется, в предыдущем году.

В Каслях каменщики из нашего училища строили для ремесленного училища новый корпус, а мы ставили для них из бревен и досок леса. Здесь произошла весьма курьезная история. Кирпичное здание было доведено до уровня второго этажа, и необходимо было поставить леса вокруг корпуса, чтобы могли работать каменщики. Мы уже сделали половину работы, когда кто-то не удержал тяжелую стойку и она стала падать, увлекая за собой остальные леса. Зрелище было впечатляющим, но, слава Богу, никого не убило, а вполне могло бы. Пришлось все делать заново.

Старинный уральский городок Касли возник вокруг Демидовского металлургического завода, который, наверное, все еще работал. В городе действовала церковь, что по тем временам было редкостью. Даже в Челябинске оставалась действующей лишь одна, кажется, церковь. Запомнилась мощеная диабазом площадь перед церковью. Город славился своим художественным литьем из чугуна. Каслинское литье известно не только в России, но и в других странах. Магазины в Челябинске полны были черных фигурок – Дон-Кихотов, собак, черти-

ков, пепельниц и много чего еще. Но в то время я не ценил этого, а теперь каслинский чертик есть у меня дома.

В Каслях мы брали на прокат лодку и плавали по озеру, и, помнится, мой шкодливый земляк Вовка Головачев так раскачал лодку, что чуть не перевернул ее. Здесь я научился грести, и это очень радовало меня.

Из Кае лей видны горы. Одна гора казалась совсем близкой. Однажды в какое-то воскресенье мы вдвоем со Славкой Солодухиным из Копейска решили сходить на эту гору. Шли долго – в полдня еще не дошли, поняли, что обманулись, но возвращаться не хотелось. Забрели у подножия в какие-то дебри вокруг небольшого озера, отчаялись выбраться. Мой спутник достал перочинный нож и говорит: «Это ты нас завел, я тебя зарежу!». Не помню, как я его убедил не резать меня, может, потому, что в конце концов мы вышли к подножию горы и стали подниматься. Это оказалось не так просто. Нам удалось подняться только до середины горы. Там я испытал полный восторг – неожиданно на поляну выбежала косуля и застыла. Мы полюбовались ею, я хлопнул в ладоши, зачем – сам не знаю, и она мгновенно исчезла. Природа поразила меня изобилием и пышностью – разнотравье цветущее, дикая вишня... С горы мы увидели Касли и сориентировались, куда нам идти, вышли на дорогу и к вечеру вернулись обратно.

В Каслях я получил телеграмму, что приехала мама. Я отпросился у мастера и поехал в Челябинск. Сначала поездом по однопутной ветке до Уфалея (не помню, Нижнего или Верхнего) – это железнодорожная станция на дороге Свердловск – Челябинск. Никаких денег, конечно, не было, добирался товарняком. Я забрался в вагон с углем, зная, что мы будем проезжать через Кыштым, где неподалеку находится Челябинск-40 и поезда будут осматривать «зеленые фуражки» с собаками. Я зарылся в уголь с головой и слышал, конечно, всю эту тревожную суету, но, видно, зарылся глубоко, и собаки ничего не учуяли. Когда проехали Кыштым, я выбрался из угля и, как мог, отряхнулся. Правда, на мне была черная форма под цвет угля, а уж какое было лицо – не знаю.

Повидался с матерью, брат дал денег на обратную дорогу, и я вернулся вовремя, как и обещал мастеру. На обратном пути со мной случилось странное приключение. Доехал я поездом до Каслей, а поезд останавливается довольно далеко от самого города, и пошел в сторону города. Едва-едва начинался рассвет. Почему я так поздно приехал или уснул – не знаю. Я шел и шел, а впереди был лес и лес. Я вернулся, пошел обратно, снова дошел до поезда, нет, думаю, ошибся, и опять иду и вижу перед собой лес. Не знаю, сколько раз я туда-сюда ходил, пока не рассвело. А как рассвело, я понял, что это тучи-облака в небе были похожи на лес и вводили меня в заблуждение.

Между прочим, Челябинск-40 находился километрах в двадцати от Каслей, но ветер при взрыве был в другом направлении и облако прошло стороной.

К началу занятий мы вернулись из Каслей в Челябинск.

Надо заметить, что важной частью нашего бытия в училище были драки с местным населением, а также училище на училище. Как правило, ремесленное училище враждовало со строительным («железки» с «деревяшками»), наше строительное враждовало еще и с какой-то школой ФЗО³. Однажды я участвовал в коллективном нападении нашего училища на школу ФЗО в районе Фатеевки. Это довольно далеко от нас, и что мы с ними не поделили – непонятно. Что мы там забыли? Но был такой поход. Кажется, нам оттуда пришлось бежать. Этот поход имел для меня неприятное продолжение. Стало известно, что мы потерпели поражение.

К нам в спальню зашел местный парень, он учился в училище на слесаря-сантехника. Он обычно ходил со своим дружкой – дылды под два метра, а сейчас он пришел один. Обычно они терроризировали нас, поскольку за ними стояли местные и еще у них были дружки в ремеслен-

³ Школа ФЗО – школа фабрично-заводского обучения.

ном училище. А в этот раз он зашел один и начал хорохориться: «Меня не было, мы бы разобрались, вы драпанули!..» и т. д. А я стал ему возражать что-то вроде того – ну уж, конечно, все бы тебе перепугались, сразу бы убежали и т. д. Ему это не понравилось, он стал на меня задираться, схватил стул и хотел опустить его мне на голову, но я пригнулся и в прыжке ударил его головой в живот. Он опрокинулся, но понял, что дальше продолжать не стоит. Ребята, которые при этом были, естественно держали мою сторону, но не вмешивались. «Ну, погоди!» – пригрозил он мне и ушел. Мы все решили, что он приведет себе помощь. Действительно, в тот же день нас послали то ли мусор убирать, то ли уголь разгружать. В это время подвалила местная кодла с ним во главе. «Ну что!» – начал он задираться. Я взял лопату и, полный решимости, говорю: «Подходи, если не страшно!». Постояли, ушли. Но однажды его прихвостень Сашка Медведев позвал меня: «Витя, зайти, разговор есть». Я вошел в туалет, а там тот стоит. У меня руки в карманах. «Ты что, – говорит, – в кармане держишь?» Я говорю, что, в отличие от него, ничего не держу, а надо бы сказать: да есть кое-что, сейчас узнаешь. И они вдвоем меня избили. Причем оба больше меня ростом и комплекцией. Я пришел в свою комнату и рассказал друзьям. Они пошли их искать, того не нашли, а нашли Сашку Медведева, и он получил сполна.

Было еще какое продолжение – не помню, однако, думаю, ребята стали ко мне относиться с еще большим расположением.

А однажды на зимних каникулах, когда в училище оставались одни детдомовцы да несколько тамбовских и курских, на училище напали местные. Они разогнали всех нас, кого-то порезали, а дежурному мастеру, который обучал девушек штукатурному искусству, воткнули нож в ягодицу. Никаких судов по этому поводу я не помню.

По ночам мы куда-то бегали, не помню, куда и зачем. Запомнилось только, что училище закрывалось, а мы после отбоя через окно в туалете на втором этаже прыгали вниз, причем на асфальт. Обратного забираться по водосточной трубе. Так было не раз.

В качестве курьеза вспоминаю случай, когда мы толпились на первом этаже перед комнатой мастеров, там же была и касса, где мы получали какие-то символические деньги за практику. Вдруг из комнаты мастеров вырывается старший мастер, хватает меня и тащит в их комнату. «Кречетов, это ты сейчас выругался?» – и он произнес весьма увесистое выражение. Я был уверен, что этого не говорил, но он мне не поверил, и меня наказали – лишили месячного заработка, уж очень выразительная была загогулина. Года два спустя я начал над собой работать и отучился от матерных выражений и не употреблял их до той поры, пока мои друзья по университету, Витя Новиков и Коля Типсин, снова не переучили меня. Случай с лишением меня заработка мне очень запомнился, хотя деньги там были смехотворные.

В остальном же я был учеником спокойным до самого выпуска, когда директор училища Пименов сказал: «Вот так надо вести себя – человек проучился два года, а я даже не слышал его имени...». Конечно, он немного меня приукрасил. Самого директора я помню мало – только то, что он был огромного роста, участник Гражданской войны, имел именное оружие, подаренное то ли Буденным, то ли Ворошиловым. Больше помню его жену, она была значительно моложе мужа, работала в столовой, а жили они в квартире при училище. Славная была, добрая женщина, и мы к ней хорошо относились.

Училище я закончил успешно, мне был присвоен четвертый разряд, хотя по всем показателям должен был быть пятый. Но администрация понимала, что в бригаде не захотят иметь пацана с пятым разрядом, когда он и у старых плотников был не у всех. Я был огорчен, но теперь понимаю, что они были правы, и благодарен за это – иначе у меня возникли бы проблемы.

После окончания училища нас несколько человек осталось работать в Челябинске на лесозаводе, где мы проходили практику.

На лесозаводе мы делали щиты для строительных лесов и штакетник для ограждений газонов. Работа была несложная, сдельная, вполне посильная, но платили мало, мы даже пыта-

лись устроить забастовку, но старые плотники на это не пошли. «Вам легко говорить, а у нас семьи, их кормить надо...» Мы считали их трусами и штрейкбрехерами, но, конечно, они просто были помудрее нас и жизнь знали лучше. За организацию и участие в забастовке в то время можно было и срок схлопотать. Мастером на лесозаводе был человек весьма преклонных лет, думаю, не менее семидесяти, одет был всегда как буржуй, словом, человек был еще старорежимный. С ним шутки были плохи.

Бригада была разношерстной. Были старики, были люди средних лет, все уже семейные. Был среди нас один мужик лет под сорок, он отсидел двенадцать лет, познакомил нас с лагерным фольклором вроде песни:

Проснись, Ильич, за это ль ты боролся.
Взгляни на сцену – там поют артисты.
Литературу тоже не забудь.
Только за железные кулисы
Прошу тебя, Ильич, – не вздумай заглянуть.

У него был рак кожи, и лицо было в каких-то темных пятнах. Однажды мы разгружали вагоны, а потом в пустом вагоне затеяли игру в чехарду, и он тоже принял в ней участие. Кто-то нечаянно задел его руками по носу, и нос переломился пополам, обнажив жуткую кровавую рану. Мы ужаснулись, а он взял снизу кончик носа и прижал его, будто не впервой. Правда, играть больше не стал.

Нашим бригадиром был мордвин Сашка Коблин. Ему было около тридцати. Образование у него было пять классов, и он просил меня научить его читать чертежи. В училище нас этому научили неплохо, и я даже ходил к нему домой, давал ему уроки.

Но пока я еще работал на лесозаводе по распределению. По условиям того времени я обязан был отработать четыре года. На лесозаводе со мной работали Володька Головачев и тот самый Геннадий, о чей лоб он когда-то разбил графин.

У Пиняжина образование было шесть классов, но обнаружился голос, он стал ходить в местный дом культуры. Ему рекомендовали учиться в музыкальной школе, туда принимали с семьей классами. Он стал ходить в ту же школу, где начинал и я, но не учился там, а сдавал экзамены. Учителя помогли ему получить свидетельство об окончании семилетки, и он поступил в музыкальную школу. Проблему отработки четырех лет как-то уладили.

Забегая вперед, скажу, что в 1972 году у нас с ним состоялась неожиданная встреча в Ленинграде, на улице Зодчего Росси. Я в то время работал на Ленинградском телевидении, в редакции молодежной программы «Горизонт», и одновременно пытался сотрудничать в газетах «Смена» и «Вечерний Ленинград». Однажды, идя в редакцию «Вечерки» на Фонтанку, я остановился у стенда с газетой и прочитал корреспонденцию, в которой рассказывалось о стажерах Кировского театра.

Там я прочитал имя стажера Г. Пиняжина. К тому времени я уже и фамилию подзабыл, но звучание было знакомое. Я решил узнать, он это или нет. В общежитии театра на улице Росси мне сказали, что действительно Геннадий Пиняжин из Челябинска, но сейчас он у себя на родине, а вернется в сентябре. А через некоторое время я встретил его во дворе на улице Росси, где он временно жил. Узнать его было легко – высокий, ярко-рыжий. Я преградил ему дорогу, он сделал шаг в сторону, чтобы обойти меня, я снова встал на пути. Он посмотрел на меня, я спросил: «Ну что, узнаешь?» – «Нет». – «Челябинск. Строительное училище...» Он пригляделся: «Кречет? Откуда, как?». И я рассказал, как узнал, что он в Ленинграде.

Мы пошли в гастроном, он купил мяса, водки, поднялись к нему в комнату. На кровати лежал редкий по тем временам магнитофон «Грюндиг». Заметив мой взгляд, Пиняжин сказал: «Был в Мюнхене на конкурсе, дали вторую премию, первую никому не присудили. Премию

дали – мог бы машину купить, а взял его. Машина бензин жрет, а тут на водку не хватает», – не без кокетства, конечно, сказал. Он рассказал, что женат, живет в Москве и собирается перевезти туда родителей, предлагают петь в Вене, и, может быть, он туда уедет. Он рассказал, как закончил консерваторию, как ему всюду помогали, потому что у него голос. Сам же он гораздо больше удивлялся моим успехам, несравнимо более скромным, чем его. Но у него был голос – и это объясняло его успехи, а мой путь ничто не предвещало. О его дальнейшей судьбе мне ничего не известно, хотя, наверное, есть какое-то продолжение⁴. Но вернусь на лесозавод.

Однажды нас, молодых рабочих, послали в колхоз копать картошку, куда-то неподалеку от Уральских гор. К слову сказать, и Пиняжин был с нами. Эта поездка запомнилась мне тем, что в то время у меня было короткое, но сильное любовное увлечение одной девчонкой лет восемнадцати, работавшей на бетонном заводе. Она была тамбовской, и это сразу определило наши взаимные симпатии. Как-то была легкая общая попойка, после которой мы с ней пошли в березовый лес гулять, лес там исключительно березовый. В какой-то момент я неловко попытался овладеть ею. Мы лежали на земле, я приподнимался, осматривая лес, нет ли кого поблизости, но березы начали двоиться и плыть, а земля наклонялась то в одну, то в другую сторону. В конце концов мы успокоились и вернулись друзьями.

Ночью мы спали вповалку на полу в избе, нас там было не менее двадцати человек. Мы с ней легли рядом – я настроился ночью продолжить сближение, но все долго не спали, рассказывали, кто что мог, какая-то женщина пересказала роман Рабиндраната Тагора, томик которого у нее был с собой. Тогда я впервые узнал об этом писателе. Мы лежали с ней, обнявшись, долго-долго смотрели в глаза друг другу, я был в возбуждении, надо было дождаться, когда все уснут, но в этом томительном ожидании я неожиданно сам заснул. Когда проснулся, было уже светло, хотя все еще спали. Меня охватил буквально ужас, что ночь прошла, я не выполнил своих намерений. Когда все встали утром, та, что читала Тагора, с укором сказала мне: «Эх, ты, Вита!». И я понял, что и она ожидала от нас чего-то, а я оказался не на высоте.

Отношения между нами сохранялись некоторое время, я заходил к ней на бетонный завод, но все как-то постепенно угасло. Может быть, поэтому я вскоре по комсомольской путевке переехал в район ЧМЗ на строительство сталепрокатного стана-2200. Там я работал на устройстве опалубки для бетона. Самая трудная часть этой работы – разбор опалубки после того, как бетон схватится. Труднее всего было отдиравать деревянные стойки, схваченные толстой проволокой.

Однажды мы с напарником отдирали эти стойки, он работал ломом вверху, я внизу – в полное нарушение техники безопасности. Стена была высокая, метров пять-шесть. В какой-то момент у напарника вырвался утробный звук с придыханием, не крик, а что-то более ужасное, на что я интуитивно отскочил в сторону. В то же мгновение на место, где я стоял, грохнулся лом, вырвавшийся из его рук. Как я смог успеть отскочить – не знаю, какое-то непостижимое везенье, тут не без вмешательства высших сил.

Я сел и долго-долго сидел молча, осмысливая случившееся. «Знаешь, – сказал я напарнику, – пойду-ка я домой. Это знак сверху. Больше я сюда не приду». И я ушел.

По дороге купил бутылку вина, пришел домой. Мать была дома. «Отметим, мать, второе рождение...» И я рассказал ей о случившемся.

На этом моя работа по комсомольской путевке закончилась. Я уволился, и обязательство отработать четыре года по распределению уже утратило свою силу.

Потом я сменил несколько мест работы, нигде больше полугода не задерживаясь. В то время проводилась кампания по борьбе с «летунами». На предприятиях висели плакаты, при-

⁴ Пиняжин Геннадий Анатольевич (р. 1943) – певец (бас), заслуженный артист РСФСР (1989). Окончил Московскую консерваторию (1971). В 1970-1971 гг. пел на сцене Кировского театра в Ленинграде. С 1972 г. – солист Московской филармонии.

зывавшие бороться с тунядцами и летунами. Вот я и был типичный летун, но если бы я им не был, то, как сказал бригадир Александр Коблин, так и сдох бы под верстаком на том самом лесозаводе, куда распределился после окончания училища.

Всех мест работы теперь уже и не помню (надо свериться с трудовой книжкой) – работал плотником на каком-то заводишке, ремонтировал кузова для машин, был рабочим сцены, а потом и верховым в Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки, но это отдельная страница в моей жизни и чуть дальше я расскажу об этом подробнее. После театра работал резчиком по металлу на машиностроительном заводе автотракторных прицепов, откуда с хорошей комсомольской характеристикой поступил уже в Ленинградский государственный университет. Два слова о комсомольской характеристике.

Уйдя со строительства прокатного стана-2200, я автоматически выбыл из комсомола. Так вот, на машиностроительном заводе я вновь вступил в комсомол, будто я в нем еще не был. Работая хорошо, а работали мы в три смены, я был еще и активистом. Однажды на общем рабочем собрании был товарищеский суд, судили девицу легкого поведения за это самое поведение, и я выступил с защитительной речью. Дело в том, что некоторое время я увлекался судебными речами адвокатов, я прочитал огромный фолиант, в котором эти речи собраны. Особенно меня увлекал Плевако. Я подумывал о поступлении на юридический факультет, поэтому тут для меня была просто практика ораторского мастерства. Я говорил страстно и долго, приводил разные аргументы, подкреплял свои суждения мыслями разных философов, помню, даже сослался на Абая Кунанбаева, его я вычитал в сборнике «В мире мудрых мыслей». Если бы была другая аудитория, то едва ли меня дослушали бы, но рабочие к своим «мудрецам» весьма внимательны.

Словом, девушку оставили в покое, позволили ей и дальше оставаться с легким поведением на их заводе. А я сорвал аплодисменты и был героем дня.

Два слова о том, чем закончилось мое увлечение юриспруденцией. Я нацелился на поступление в Свердловский юридический институт. В условиях приема было указано, что нужны характеристика из районного отделения милиции и комсомольская характеристика. Я с этими вопросами пошел в районный комитет комсомола и получил направление в отделение милиции для работы в «бригадах содействия милиции». Так я попал в «бригадмилицы» и получил первое задание. Нас, несколько человек во главе со старшим, направили в дом культуры дежурить на танцах. Инструкцию давал бригадир, у него были коротенькие усики, как у царского шпики в кино о революции. Работа простая: если видишь, что собрались тричетыре человека и о чем-то говорят, то нужно было незаметно подойти, отвернуться или встать боком, стараясь не выдать себя, и послушать, о чем говорят, и, если что подозрительное, немедленно докладывать старшему. В слежке и наушничестве я провел тот вечер и понял, что это не мое занятие. Больше я в бригады милиции не пошел. Между прочим, в отделении милиции в этот день говорили о местном событии – мужик топором зарубил всю свою семью, девять, кажется, человек. Это произвело на меня такое сильное впечатление, что я полвека помню об этом.

Теперь я, конечно, рад, что не попал на юридический.

К слову сказать, на машиностроительном заводе я впервые увидел челябинскую знаменитость – молодого поэта Валентина Сорокина с ватагой друзей, тоже молодых поэтов. Был поэтический вечер на заводе, они имели успех. Я уже знал в то время, что есть такой поэт, его тогда только-только приняли в Союз писателей. Много позже в Москве на каком-то писательском пленуме я рассказал Валентину об этой первой встрече – он подивился таким совпадениям. В Челябинске же я, как-то на сабантуе в ЦПКиО, столкнулся с учителем Сорокина – Борисом Ручьевым. Его имя в то время гремело по России, особенно на Урале. Ручьев и Татьяничева были две местные знаменитости. Не знаю, о чем мы говорили-спорили с Ручьевым – мне было лет девятнадцать-двадцать, но я его достал тогда, мы с ним разругались. И что удивительно –

эта встреча для всей моей дальнейшей жизни имела значение. Я впервые говорил с большим поэтом и, главное, – о, молодость! – чувствовал себя на равных с ним.

Но вернусь снова назад. Когда я переехал в район ЧМЗ, я пошел учиться в вечернюю школу рабочей молодежи № 21 в восьмой класс и стал прилежно и с интересом учиться. Это были три года напряженной учебы и вообще моего развития. Одновременно я стал заниматься в кружке драмы в местном доме культуры (в районе Першино). Это был специально построенный деревянный дом, окрашенный в зеленый цвет, из-за чего он получил в народе имя «Зеленый».

Кроме того, я поступил еще в культурно-просветительное училище на заочное отделение для обучения на режиссера народной драмы. По окончании его я мог бы руководить драмкружком в клубе или даже в доме культуры. В этом училище я добросовестно учился один год, а далее не стал из-за слишком большой нагрузки – работа, школа, драмкружок да еще и училище. Но школу и драмкружок я за собой оставил. Но если к работе я относился как к добыванию средств существования, то вечерняя школа и драмкружок были для меня на этом этапе жизненно важным, первостепенным делом.

Школа рабочей молодежи

В годы моей молодости школы рабочей молодежи были обычным явлением. В них учились рабочие, не имевшие среднего образования, но желавшие получить высшие разряды на работе, производственные мастера, выпускники ремесленных и строительных училищ, вроде меня, ФЗО, кроме того, также обучались некоторые учащиеся средних школ, которых отчислили либо за неуспеваемость, либо за стилижество, или еще за что. Эти ученики не работали, их содержали родители. Учились они довольно посредственно. Посредственно учились и пожилые рабочие, иногда под пятьдесят и, как правило, около сорока лет. Им науки просто не давались, хотя они и старались, но, в конечном счете, аттестат о среднем образовании они все же получали.

Я относился, наверное, к категории перспективных учеников, и учителя нашей школы, особенно преподавательница истории, заместитель директора Калмыкова А. И., принимали участие в моей судьбе. Так, меня могли взять в армию из десятого класса, но, благодаря ходатайству школы, мне дали возможность закончить школу, а потом, уже летом 1963 года, я уехал в Ленинград, где и поступил на философский факультет.

Почему в вечерней школе я был учеником перспективным? Во-первых, я был еще молод. По сравнению с моими ровесниками, я отставал всего на четыре года. Во-вторых, я учился с большим интересом и у меня все получалось. Литература шла на «отлично», мои сочинения всегда хвалили, в химии я достиг значительных успехов, особенно в органической. Химию преподавала выпускница Саратовского университета Т. А. Малеванная, она любила меня за успехи и поручала составлять разные химические задачи для следующих уроков. Я же любил ее соответственно за свои успехи и за ее любовь. Я даже некоторое время всерьез подумывал стать химиком. В порядке курьеза расскажу одну химическую историю. Мы с матерью и братом втроем жили в двадцатиметровой комнате в двухкомнатной квартире. В другой комнате, поменьше нашей, жила молодая пара, а кухня у нас была общей. Однажды молодая соседка готовила пельмени, наверное, полдня, а я здесь же, на кухне, проводил какой-то опыт, и вдруг у меня в руках все взорвалось и накрыло соседкины пельмени. До сих пор не понимаю, почему соседка не ругала меня и вообще этот инцидент никак не испортил наших отношений. Больше у себя на кухне я не проводил опытов.

В то же время я все больше стал увлекаться литературой – во-первых, начал сам писать стихи и разного рода зарисовки и заметки. Стал даже предлагать свои прозаические этюды в газеты, в частности, в многотиражку «Голос строителя». В этой газете я познакомился с молодым поэтом по фамилии Смагин. Однажды он показал мне газету со своим стихотворением. Кажется, он был первым живым поэтом, с которым я познакомился. Дальнейшей его судьбы не знаю, да и в то время я больше не встречал его.

Однажды в этой газете напечатали мою заметку о том, что дом культуры «Зеленый» слишком долго ремонтируется. Помню, как я пришел вечером в дом культуры, у входа в который стоял наш руководитель Валендер с членами драмкружка. Завидев меня, он воскликнул: «А вот и наш писатель!». В этом были и ирония, и одобрение, и, может быть, поэтому мне запомнился этот эпизод.

В редакции обещали напечатать мои этюды о природе, но потом газета стала перепечатывать материалы, кажется, XXI съезда КПСС. Газета была то ли двухстраничным, то ли четырехстраничным листком, и, конечно, она перепечатывала материалы долго, так что я со временем утратил к ней интерес.

Дома у меня была собранная братом небольшая библиотека, помещавшаяся сначала на этажерке, а потом в небольшом книжном шкафу. В нем первый том из восьмитомного Шекс-

пира, первый том словаря Даля, который я с интересом и подолгу листал, томик А. Блока, зелененький пятитомник Есенина, кажется, неполный, сборничек сонетов Мицкевича и «Сонеты»

Камоэнса в переводе Левика, эти две последние книжечки сопровождают меня да сих пор. В это время я ночами зачитывался Жуковским, а днем не выпускал из рук «Евгения Онегина», намеревался выучить его наизусть, но ограничился двумя главами. Пушкиным я в это время бредил, в школьной библиотеке было его десяти томное собрание, и я брал его оттуда на дом. Каким-то образом в домашней библиотечке оказались книги о Кольцове и Никитине, они оставили в душе неизгладимый след. Потихоньку я начал и сам покупать книги – купил «Древнегреческую эпиграмму», Апулея в серии «Литературные памятники», потом «Повесть о любви Херея и Каллирой», которую читал во время болезни. Эта книга запомнилась тем, что я и заболел-то однажды от того, что слишком долго стоял под окном милой моему сердцу девушки.

Большое влияние на меня оказал Плутарх. Его знаменитые «Жизнеописания», хотя и в популярном изложении, насытили меня античностью и сделали древний мир близким, почти современным. В то время я умел настолько вживаться в материал, вчувствоваться в него, что начинал терять чувство времени. Пушкина я переживал почти как современника, мне казалось, можно даже застать в живых тех, кто его еще помнил.

Наша учительница литературы, которая любила меня и которую я тоже любил и часто провожал домой, имела довольно стандартные знания по своему предмету и за пределы программы не выходила. Увидев как-то у меня в руках Апулея, спросила, что я читаю, я показал, она ответила: «Не знаю. Мы в институте не проходили...». Это честное признание было своеобразным извинением. Однажды она поручила мне сделать на уроке доклад о Шекспире, и я, добросовестно проштудировав очерк Аникста, удивил всех и учительницу своими познаниями. Зарубежной литературы мы касались весьма поверхностно, и Шекспира, Байрона и Гете я осваивал самостоятельно. «Фауста» я читал в переводе Холодковского, еще не подозревая о существовании пастернаковского. Но Холодковский меня вполне удовлетворял в то время.

Увлечение естественными науками привело меня к философии. Я познакомился, хотя и поверхностно, с трудами Руссо, прочитал некоторые повести Вольтера, прочитал «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского, несколько «Опытов» Френсиса Бэкона и добрался до сочинений Джона Локка. Прочитал несколько популярных очерков о космологии, начал штудировать «Краткий очерк истории философии» и «Философский словарь». Постепенно мои интересы стали склоняться в сторону философии, и, когда я закачивал школу, то есть в 1962/63 учебном году, я уже четко знал, что буду поступать на философский факультет Ленинградского университета. Моему увлечению философией странным образом способствовал один из номеров журнала «Америка», опубликовавший кредо девяти современных крупнейших американских философов. Готовясь к университету, я понимал, что знаний у меня маловато. Чтобы расширить свой образовательный багаж, я придумал простую, но рациональную систему. Полгода я работал, а зарплату тратил лишь наполовину, вторую часть оставлял, чтобы жить следующие полгода, не работая, а только готовясь к университету. В конце концов это дало свои результаты.

Если с литературой у меня была какая-то ясность, то с некоторыми дисциплинами были и проблемы. Физику я при всем старании не мог одолеть и выше четверки не поднялся. Астрономию у нас не преподавали, и я ее учил самостоятельно, потому что при поступлении в вуз в то время имел значение и средний балл по аттестату. А немецкий язык я учил по самоучителю, хотя преподаватели по немецкому у нас были. Мы очень любили добрейшего старика-немца Вейса Христиана Христиановича, который, впрочем, мало учил нас языку. Сам же он, между прочим, читал лекции на немецком языке в немецкой диаспоре, и как-то я ходил в ДК «Зеленый» на одну из таких лекций. Замечу попутно, что на ЧМЗ было очень много немцев, в школе тоже, в том числе и в нашем классе. Со всеми ними у меня были замечательные отношения,

но немецкий язык они знали не лучше меня, во всяком случае, на уроках их знания не были заметны.

Так или иначе, но школу я закончил со средним баллом 4,5, а по профильным, то есть по тем, по которым мне надо было сдавать экзамен в университет, у меня было 5 баллов, и это помогло мне набрать проходной балл и стать студентом. Но это уже было летом 1963 года. А до этого я хотел бы вспомнить еще кое-какие страницы моего пребывания в Челябинске.

Драмкружок в «Зеленом»

Во-первых, хочу сказать несколько слов о драматическом кружке в «Зеленом» доме культуры, в котором я занимался в течение трех лет. Не помню, как я узнал об этом кружке, может быть, висело объявление и я решил, что мне это интересно.

Условием поступления в кружок был вступительный экзамен, на котором надо было что-то читать. Я пришел на испытание к руководителю кружка Валендеру Читал я стихотворение Некрасова:

Выдь на Волгу, чей стон раздается
Над великою русской рекой...

Валендер выслушал меня и сказал к моему удивлению, что я плохо выговариваю «г». Он дал мне несколько упражнений, и я стал бороться с этим дефектом.

В работе кружка мне более всего нравились репетиции и застольное чтение ролей, а также с работа с мизансценами непосредственно на сцене. Ставили мы обычно какие-то спектакли, в которых участвовали опытные старшие товарищи.

У меня сохранились две типографски отпечатанные программки тех спектаклей. Один спектакль представлял собой какую-то революционную агитку, где я играл три роли – солдата, официанта и старика с палкой. Однажды с этим спектаклем мы ездили на гастроли в сельскую местность. Случилось так, что парень, игравший матроса, не пришел. Валендер был в отчаянье и не знал, как быть – спектакль срывался. Наконец мы приняли решение, что я буду говорить реплики и за солдата, и за матроса, а они там разговаривают между собой. Слова и того и другого я помнил. Я задавал вопросы и сам отвечал на них. Не знаю, поняли зрители что-нибудь или нет, но это был вечер моего триумфа – я спас наш спектакль. Первой фигурой в нашем театре я не был – были люди более яркие по дарованию и более опытные. Один из нас, помню, собирался в Москву, в театральное училище. Не знаю, поступил ли он, фамилия у него была как у гоголевского героя – Ковалев, но что-то артистов с такой фамилией я не знаю.

В рассказе «Большая роль» у меня есть «немец Карл Оттович Валендер, который хотя сам и не стал большим артистом, но дело свое знал хорошо. Перед самой войной он учился в театральном училище в Киеве, закончил три курса...». Это списано с реального Валендера, которого, впрочем, звали иначе, но подлинное имя я забыл, иначе непременно сохранил бы его в знак благодарности. Кое-чему я научился – азам сценического движения, работе с текстом, некоторому умению строить мизансцены. Летом 1961 года я ездил к сестре на Амур, и там эти навыки мнегодились. Я репетировал концерт с местной молодежью и учил их ходить по сцене, а также держаться перед зрителем.

В кружке была своеобразная творческая атмосфера, и между кружковцами выстраивались личностные отношения. Юрченко, парень лет на семь-восемь старше меня, женился вскоре после моего прихода в кружок на местной красавице-татарке, которая мне тоже волновала сердце, и теперь я очень ему благодарен за это. Валендер, которому было лет пятьдесят, ухаживал за Аллой Кокшаровой, девушкой лет двадцати трех или четырех и в благодарность давал ей вести концерты. Я был молод и совершенно не понимал, как она может отвечать ему взаимностью. Теперь-то я знаю, что Валендер был неизмеримо интереснее нас, молодых.

Конечно, ничего выдающегося в драмкружке не было, но была живая творческая жизнь, которая сама по себе важнее достижений. Эти занятия пробудили во мне интерес к театру – я стал интересоваться сценой, артистами, посещал гастрольные спектакли какого-то московского театра, а несколько позднее поступил на работу в качестве рабочего сцены в Театр оперы и балета, но это отдельная страница.

Дома на книжной полке стоял томик К. С. Станиславского из известного собрания, и я раскрывал его вполне заинтересованно и осознанно.

Поездка на Амур

Лето 1961 года я провел в Новоильиновке на Амуре, где жила моя сестра Катя. Она закончила Моршанский библиотечный техникум и получила направление на работу в библиотеку Новоильиновки. Там она вышла замуж на местного охотника и рыбака Нестера, у них родились две дочки, мои племянницы Маша и Люда. Вот к ним-то я и поехал на лето 1961 года.

Это было настоящее путешествие – семь дней поездом до Хабаровска и двое суток колесным пароходом по Амуру. Я смотрел в оба глаза на великолепные просторы нашего отечества: Байкал, забайкальские степи, дальневосточная природа – все это приводило меня в восторг. Кроме того, в дороге я знакомился с разными людьми. До Иркутска я ехал со студентом политехнического института Перфильевым, а дальше до Хабаровска – с Еленой Заболотной, впрочем, может быть, Заболотской. Она была года на четыре старше меня, студентка, проявила ко мне интерес потому, что я писал стихи, и потом мы обменялись с ней несколькими письмами, в которых она давала мне советы. Она жила в Хабаровске, где-то неподалеку от площади с памятником Ерофею Хабарову.

В Хабаровске я провел день и успел за это время познакомиться с его основными достопримечательностями, среди которых более всего меня волновал утес над Амуром в парке культуры. У меня с собой был небольшой альбом, в котором я рисовал парковые скульптуры. Запомнился момент, когда ко мне подошли две школьницы, стали смотреть мои рисунки и расспрашивать меня. Мне было приятно их внимание.

Дальневосточная природа значительно отличается от уральской и тем более от той, какую я знал в своей тамбовской деревне. Тут все другое – восход, закат, туман, масштабы всего и Амура тоже поражали. Я в это время много писал стихов, экспериментировал – строил внутренние рифмы, рифмовал начала строк, пробовал лесенку. В дороге на какой-то станции купил сборник поэта Полякова – желтенькую книжечку в твердом переплете. Стихи были написаны лесенкой, мне они нравились, вдохновляли меня. Я тоже так пробовал. Что это был за поэт – не знаю.

На пароходе утром рано я вышел на палубу, увидел туман между сопок, восход – и стал сочинять стихотворение. Забыл теперь его, но вот отрывок:

.....вышел.
Любуйтесь, дети, может быть, вы
Сумеете жизнь так прекрасно вышить...

«Вышел», наверное, солнечный шар или диск, что-нибудь в этом роде. С собой у меня была толстая общая тетрадь в клетку, которую я скоро заполнил. Таких общих тетрадей со стихами у меня было две. К сожалению, они не сохранились. После первого курса университета я приехал на каникулы в Челябинск и уничтожил обе тетради и альбомы с рисунками как грехи молодости. Я вообразил тогда себя философом, и все свои юношеские опыты посчитал ниже своего философского достоинства. Теперь-то я понимаю, что это была просто юношеская глупость, юношеский максимализм. Но я забежал вперед.

В Новоильиновку пароход причалил ночью. Я едва не проспал ее. Хотя «причалил» – неточно. Пароход остановился на некотором расстоянии от берега, и пассажиров доставляли на берег лодкой. На берегу меня встретила сестра, мы обнялись – не виделись уже несколько лет.

В Новоильиновке я подолгу бывал у сестры в библиотеке, иногда заменял ее, выдавал и принимал книги. Готовил с местными школьниками концерт к какой-то дате. Работа библиотекарем в Новоильиновке имела свою специфику. Дело в том, что деревня эта (или поселок) одной стороной выходит к Амуру, другой – к тайге. Никаких дорог, кроме реки, здесь нет.

Связь с внешним миром осуществляется только по реке летом или зимой после ледостава. А пока лед не станет, людям делать нечего – и все читают. Библиотека становится местом, где люди встречаются. Осенью и весной почту доставляют вертолетом. В этих условиях в библиотеке большая читаемость, благодаря которой сестра потом стала «заслуженным работником культуры».

Однажды в библиотеку пришли местные девчата, и мы познакомились. Среди них была Нина Захарова, в которую я влюбился. Мне было девятнадцать лет, а ей пятнадцать, но она прибавила себе год, сказала, что ей шестнадцать, боялась, что если она скажет правду, то я сочту ее маленькой. До этого у меня было некоторое увлечение другой девочкой, Леной Подопригора, но она со мной больше играла, ей нравилось мое внимание, или просто она была закрытой натурой. Я остыл к ней и воспылал чувствами к Нине. С ней мы проводили все вечера до поздней ночи. Мы ходили с ней, взявшись за руки, я носил рубашку навыпуск. От возбуждения рубашка внизу оттопыривалась, и я стеснялся этого. Я надеялся, что Нина этого не заметит. Чтобы это было менее заметно, я слегка нагнулся вперед, чтобы рубашка опала, не топорщилась, но не всегда мне это удавалось. Ночи без луны были кромешно темными. Мы ходили по дощатому настилу, который слегка высвечивался в темноте. Иногда где-нибудь вздыхала корова, лежащая прямо на улице, по крайней мере в сухую погоду. Загонять коров в хлев не было необходимости – уйти корове просто некуда. Ну, а после дождей бывали основательные лужи, и тогда мостки очень выручали.

Был со мной забавный случай. Мы с Ниной шли к ней домой, темнота была полная, лишь слегка высвечивались мостки и лужи. В одном месте нужно было перепрыгнуть с мостка на мосток, потому что вокруг всегда была грязь. Сначала решил прыгнуть я сам, чтобы потом поддержать ее. Я собрался с духом и постарался прыгнуть как можно дальше, чтобы попасть на середину настила. Но оказалось, что это не настил светился, а лужа и я прыгнул в самую ее середину, оказавшись в воде по колени.

Однажды мы с Ниной расположились на досках во дворе школы. Она разомлела и предоставила себя целиком мне, подтвердив свое согласие и словами. И я, совсем уже изготавившись, понимая, что сейчас она лишится девственности, а я уеду и она будет переживать, вернуться ли я к ней, неожиданно для самого себя сказал ей: «Нина, я не хочу тебя обмануть. Я вернусь за тобой. Мы поженимся и тогда...». Она надела мне на безымянный палец перстенок в знак нашей помолвки. Я был искренен и честен, каким, наверное, не должен быть мужчина. Не думаю, что она потом была благодарна мне за эту честность.

Уезжал я в дождь и ветер. Нина провожала меня на пароход. Она была легко одета, простудилась, долго болела. Мы переписывались некоторое время. Я не вернулся. Много позже, как сообщила сестра, она с семьей уехала из Новоильиновки. Мать ее покончила с собой, повесилась. Причины, конечно, сестра не знала. Судьба самой Нины мне неизвестна. Если жива, то ей уже за шестьдесят.

Мы любили с ней подолгу сидеть на берегу Амура, на небольшом каменном полуострове, вдававшемся в реку. Однажды мальчишки кинули в нас камнями – что они этим хотели сказать, не знаю. Может быть, им не нравилось, что их девочка сидит здесь с приезжим. В Челябинске я потом бесконечно крутил пластинку с песней:

В тот час, когда над крутым утесом
Немые звезды льют бледный свет
Я часто вижу темные косы.
Другие косы и силуэт.

И при этом я всегда вспоминал каменный выступ над Амуром.

Мне многое запомнилось из того лета. Однажды мы с братом мужа сестры Вячеславом и братом Лены Подопригора Виктором плавали на остров, что неподалеку от поселка, там водились щуки в местных заводях. Но в то время там щуку за рыбу не считали и если ловили, то скармливали свиньям. Однажды Нестер, муж сестры, и его брат Вячеслав взяли меня с собой на осетровую рыбалку. Это запомнилось мне на всю жизнь. Ловили сетями у противоположного берега, в протоках между островами. Опускали сеть, пересекая протоку шириной метров в двести, и почти сразу же начинали ее выбирать. Забросили сеть раза три и набили полный мешок осетром и калугой. Головой рыбу опускали в мешок, а хвост торчал снаружи. Причем Нестер как рачительный хозяин, когда попадалась полуметровая калуга, отпускал ее, говоря: «Калужок, пусть растет». Но еще более, чем осетр с калугой, меня поразило то, как мы переплывали через Амур. Чтобы зацепиться за какой-то мысок на той стороне, мы все время гребли изо всех сил не поперек реки, а ориентируясь на точку значительно выше по реке. Оказывается, даже чтобы переплыть реку на лодке, требуется некоторое искусство да и усилия при этом приложить.

В свете этого я с ужасом вспоминаю свою глупую самоуверенность. Однажды, купаясь в Амуре, я отплыл от берега на открытое течение и меня понесло, но я этого не заметил, пока не услышал на берегу отчаянный крик сестры. Она-то знала, что, если меня вынесет на стрежень, я не выплыву. А я самоуверенно поигрывал мускулами, благо организм был молодой и сильный. Когда я сообразил, что надо плыть к берегу, меня уже пронесло мимо деревни и там, слава Богу, я выгреб в протоку, в которую впадала небольшая таежная речка.

Еще запомнились вечера, когда берег и улово (так называется полоса воды вдоль берега, где вода, завихряясь, течет в обратном направлении) покрываются мириадами белых мотыльков, они устилают весь берег и кружат над водой, из которой мелкая рыбешка выпрыгивает и хватает их. Вода буквально кипит от их пиршества. Эти мотыльки и Ниночка вошли потом в рассказ «Была».

Было и еще одно впечатление: сестра собралась в тайгу за черникой и пригласила меня. Я, в детстве увлекавшийся Арсеньевым и мечтавший стать таежным охотником, должен был бы прийти в восторг, но я отказался, опасаясь быть укушенным энцефалитным клещом. Местное население прививают против энцефалита, и то, если кого-то укусит большой клещ, последствия весьма неприятные. Я решил не рисковать без необходимости. Местные ходят в тайгу, потому что некуда от этого деваться. А я могу сходить один раз и быть укушенным – и не пошел. Сестра вернулась из тайги с ведром черники, сняла с себя рубашку и стряхнула ее во дворе, она была полна этих клещей. Такого я, слава Богу, больше нигде не видел. Сейчас в Ленинградской области есть эти клещи, но я за все годы видел их здесь не более трех-четырёх раз.

Ну и помимо всего скажу, что за это лето я прочитал «Войну и мир». Я из тех, кто читает медленно, слово за словом. На этот роман мне понадобилось все лето. К слову сказать, библиотека помогла мне слегка расширить эрудицию – я ознакомился со статьями Белинского и Добролюбова, а также Чернышевского, огромные тома которых стояли на полках, а в шкафу в коридоре стояло полное собрание сочинений А. Н. Островского, которого там никто не читал.

Еще остались в памяти люди, с которыми у меня установились хорошие отношения, – Тоня Вакуленко, жившая по соседству, старшая сестра Лены Подопригора, учившаяся в педагогическом институте, еще один местный парень, с которым мы очень подружились, имя его забылось. А еще был один парень, уже отслуживший в армии, который хотел из ревности к Лене побить меня, но, к счастью, дальше неприязненных отношений у нас не пошло. Ну, а уж вскоре я, как говорят в Ново иль иновке, уехал «на запад». Меня весьма удивляло, что Урал – это тоже запад, хотя для меня, тамбовского уроженца, Урал был востоком.

Очень памятным для меня стало возвращение поездом из Хабаровска до Челябинска. Несколько дней, по крайней мере дня три или четыре, в вагоне ехало человек пять-семь – публика разношерстная, но что-то неуловимое было общим у всех. Один был зэк, возвращав-

шийся после лагеря, с ним шмара, работавшая во время войны медсестрой, другой – геолог с Дальнего Востока, ехавший в Куйбышев. Третий, кажется, изыскатель из Якутии, которого ограбили (он ехал в Горький), еще кто-то, – и ни у кого не было денег, что само по себе было странным совпадением.

Так получилось, что я спал на второй полке, и именно в моем купе собралась эта шарага. Я слышал их, но не хотел вставать, однако меня разбудили, налили полстакана водки. Потом стали сбрасываться на водку, пришлось добавлять. У женщины на руке было несколько часов, которые она ухитрялась то ли продавать, то ли обменивать на водку. Часы в то время были еще ходовым товаром. Эта женщина, увидев у меня на пальце перстень, сказала мне: «Через год выбросишь». Я ей, конечно, не поверил, но именно так через год и случилось, об этом я скажу позже.

Ехали пьяные и полуголодные. На пустынных станциях в Забайкалье к поезду выходили женщины, продававшие вареную картошку с луком, больше ничего мне не запомнилось. Дальневосточный геолог всю дорогу пел какую-то тоскливую песню:

О боже мой, болят и руки, и ноги.
Ломота какая-то в груди.
Наверно, передохнем мы в дороге...
Наверно, всех положат нас в больницу
И наши кости салом обрастут...

И что интересно, ехали мы все, боясь друг друга, и именно поэтому ехали вместе, не отбиваясь от стаи.

Уже ближе к Челябинску мы с куйбышевцем договорились оторваться от остальной компании и сделали это уже в Челябинске, ну а потом я оторвался от него и благополучно вернулся домой. Сейчас не понять того времени и той атмосферы, в которой преступный мир плотно сосуществовал с бытом мирных граждан.

Театр оперы и балета имени М. И. Глинки

Осенью я устроился в Челябинский оперный театр рабочим сцены. Что побудило меня устроиться на эту работу точно не скажу. Вероятно, сыграло свою роль то, что я занимался в драмкружке и все связанное с театром приобрело в моем сознании притягательный ореол.

Работа в театре имела две стороны – положительную и отрицательную. Отрицательная заключалась в том, что ежедневно видишь изнанку театра – изнурительную работу артистов и ту механику, из которой складывается спектакль. Положительная – в том, что без особых усилий осваиваешь весь репертуар театра, балетный и оперный. Я работал в театре, кажется, полтора сезона и успел за это время настолько сжиться с репертуаром, что до сих пор еще напеваю про себя отрывки из разных опер, даже такой, как «Фра-Дьяволо», давно сошедшей со сцены.

В то время на балетной сцене блистали такие звезды, как Вдовин, Кузьмина, молодая Сараметова. Певцов по именам не помню, зато хорошо сохранился в памяти дирижер оркестра, лысый Исидор Зак. Над его лысиной мы потом шутили вот по какому поводу. Рабочим сцены я был недолго. Заметив мою добросовестность в работе, старший машинист сцены назначил меня старшим верховым, а был еще просто верховой, он был в моем подчинении, хотя был лет на двадцать старше.

Верховой работает на галерке и отвечает за то, чтобы кулисы вовремя поднять или опустить, а также за те трюки, в которых задействована галерка. В частности, в опере «Руслан и Людмила» я должен был ронять голову после того, как Руслан ударит ее копьем, а мой напарник в это время внизу, на сцене, пускал на туго натянутом проводе поролоновых ворон и галок.

Как-то раз холодной зимой ночью мы с ним поднялись на колосники над сценой и обнаружили там комнату, полную голубей. Наружное стекло было разбито, и сквозь это окно они набивались в комнату. Напарнику, бывшему агенту-вербовщику пришла в голову изумительная мысль – поймать несколько голубей и пустить их вместо ворон. А чтобы голуби полетели вверх, включить для них вверху лампочку. Мне идея понравилась. Мы поймали несколько голубей – трех или четырех, напарник спрятал их себе за пазуху и стал ждать, когда Руслан запоет: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями...». Потом удар копьем и голова упала, а на сцену полетели из-за пазухи голуби. В это время кто-то из наших сидел в зале и слышал восхищение зрителей – все по-настоящему! Но голуби не полетели, куда хотели мы, а повернули в сторону ярких софитов на авансцену, а потом и в зал. Потом мы смеялись – они кружили над лысиной Исидора Зака.

Конечно, был большой скандал, и мы всей бригадой еще в течение трех суток гоняли голубей по зрительному залу, пока в конце концов не изловили их.

В театре случались и другие скандальные происшествия, но это было до меня, поэтому воздержусь от их пересказа, несмотря на их занимательность.

Работа в театре дала мне возможность изучить репертуар. На сцене в то время шли «Аида», «Снегурочка», «Руслан и Людмила», «Русалка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель», «Чио-Чио-сан», «Риголетто», «Тропой грома», «Фра-Дьяволо», «Последний бал», «Шурале» и др. Я был свидетелем премьеры «Последнего бала» и запомнил, что в связи с этой премьерой театр получил телеграмму от Сергея Городецкого, поздравившего театр с новым успехом. Я в то время уже знал это имя и обратил на него внимание. Кажется, в театре работала дочь Городецкого, но могу и ошибаться.

В театре я испытывал двойственное состояние: с одной стороны, я видел изнанку спектаклей, с другой – порой настолько попадал под обаяние искусства, что начинал воспринимать его как реальность, то есть был в полубредовом состоянии. Позже, в Ленинграде, я бывал на

спектаклях классического репертуара, но если я теперь и имею какое-то представление об этом искусстве, то оно почерпнуто мной в Челябинском театре.

Особого разговора заслуживают люди, с которыми мне довелось работать. Рабочий сцены – это особая категория театралов: здесь и те, кто любит театр бескорыстно (зарплата рабочего мизерна), и несостоявшиеся артисты, обладающие голосом, но либо не имеющие слуха, либо не имеющие необходимой подготовки. При мне один из таких рабочих прослушивался, но почему-то был отвергнут. Кроме того, рабочие частенько выходят на сцену в массовках, а иногда даже получают роли, правда, не требующие голоса. Запомнился молодой мужичок лет тридцати пяти, он был маленького роста, и его всегда выносили на носилках в качестве дядьки Черномора. За выход («вынос») ему платили не один рубль, как обычно за участие в массовке, а то ли три рубля, то ли семь. Об этом Боре я написал небольшой рассказик.

Однажды один стилиста «центральной», как раз тот, что прослушивался, поманил меня за собой, я пошел с ним, зашли в туалет, он вынул пистолет и приставил ко мне: «Руки вверх!». – «Ты что?» – спрашиваю я, а он снова: «Руки вверх!». Так он пошутил и рассказал, что нашел пистолет случайно где-то в подвале. А потом пригласил меня на крышу театра, дело было холодной зимой, ночью, время часов десять вечера, и начал оттуда стрелять по фонарям. Я пытался, как мог, отговаривать его. Потом спустились вниз, где шел какой-то красивый спектакль.

В театре я впервые познакомился с настоящим (так мне казалось) художником. Его два этюда то ли постоянно висели в картинной галерее, то ли выставлялись. Так или иначе, но я очень проникся к нему уважением.

Одно время я подружился с Иваном Мызгиным, бывшим моряком. Он гордился своим дедом, революционером, написавшим книгу «Не бог, не царь и не герой». Он знал, что я пробую перо, поэтому охотно поведал мне о своей близости к литературе. С ним мы бывали и у меня дома, даже иногда я оставлял его у нас, спал, конечно, на полу. Потом, когда я ушел из театра, дружба наша сама собой распалась. Были люди разные, но не обо всех даже можно и рассказать, потому что самое интересное в них связано либо с каким-либо преступлением, либо с чем-нибудь неприличным.

Не помню точной причины моего ухода из театра, но, кажется, ушел потому, что работа была вечерняя и я из-за нее пропускал занятия в драмкружке. Вечернюю школу я посещать мог, потому что занятия в ней были в две смены – утреннюю и вечернюю, а вот драмкружок работал только вечерами.

После ухода из театра жизнь стала более напряженной. Я стал больше и систематичнее заниматься, стал больше читать. Увлёкся Горьким. Его ранние рассказы, собранные в книге «По Руси», научили меня чувствовать радость простой физической жизни. Этому, конечно, способствовала сама молодость. Тогда же я прочитал «Дело Артамоновых» и две первые книги «Клима Самгина». С большой радостью открыл для себя Джека Лондона, тогда я прочитал его «Путешествие на «Снарке»». По утрам, когда не работал, я шел в газетный киоск покупать «Неделю» – приложение к газете «Известия», регулярно покупал «Курьер Юнеско» и журнал «Америка», который продавщица специально для меня откладывала. Читал журналы «Наука и жизнь» и «Вокруг света» – все это как-то расширяло мой кругозор.

В это время я вел записную книжку, в которую вносил свои жизненные наблюдения. В книжке появлялись какие-то записи политического характера. Я почему-то находил в жизни некоторую несправедливость – и это при том, что в целом был настроен социалистически, верил в социализм и в построение коммунистического общества. Тогда же я познакомился с учениями утопистов, читал «Город солнца» Кампанеллы, хотя читал поверхностно.

Пережив зиму 1961-1962 годов, я в очередной раз уволился с работы и решил навестить родное село Веселое. У меня был замысел – повидаться с друзьями детства, вообще навестить родную землю и оттуда пойти по Руси, как ходил Горький.

Хомутовка. Лето 1362 года

Никогда не забуду теплого июньского дня, когда я, сойдя с поезда в Моршанске, вышел в поле, которое начиналось сразу же за новым вокзалом. Ветерок трепал на мне рубашку, и я всем телом чувствовал его ласку и нежность, которые я отнес просто на счет родины, родной земли. Нет слов, чтобы выразить то состояние всего организма, состояние легкости и счастья, какое я испытал. Так меня встречала родная земля.

От Моршанска я доехал уже каким-то местным поездом до станции «Хлудово», от которой до Хомутовки всего-то километра три. По пути в деревню со мной произошел забавный случай. В поле я выронил из рук записную книжку и ветер развеял по полю листки. Как мог, я их собрал. Но когда я пришел в родное село, там уже были разговоры, что какой-то мужчина разбрасывал по полю листовки, наверное, вражеский агент. Я рассказал, что тот агент был я, но рассказал, конечно, не всем, и разговор еще некоторое время передавался среди жителей села. Дремучести деревенских жителей нет предела. Думаю, теперь там все-таки иначе. Электричества у нас в то время не было, а радио провели лишь в 1956 году – и это был великий праздник.

В Хомутовке я остановился в родовом доме моей матери, где жила ее золовка, тетя Таня. Дом был поделен на две части, одна из которых принадлежала ее сыну, племяннику моей матери, Алексею Федоровичу. Сам Алексей Федорович с женой Полиной и дочерью, моей крестницей Светланой, жил в это время в другом месте. У меня был отдельный вход, и я жил свободно, не очень стесняя тетю Таню.

В то время я отчаянно влюбился в местную красавицу Веру Басманову, жившую на другом конце села, в деревне Кончановке, и каждый вечер я отматывал по несколько километров туда и обратно. Однажды мы сидели ночью у нее в палисаднике, и она спросила, что это за перстенок у меня на пальце? Я сказал, что это пустяк, не следует обращать на это внимание. «А если это пустяк, сними и выбрось его!» – сказала она. Я снял и выбросил его куда-то в темноту. Таким образом, шмара, предсказавшая мне, что я выброшу перстень через год, оказалась права. Несмотря на это Вера на мои ухаживания отвечала довольно прохладно.

В это время в Веселом жил мой дальний родственник, Ватолин Иван Иванович. Он был на четыре года старше меня, отслужил в армии, успел поработать в геологических партиях на Камчатке. Мы с ним очень подружились. Он читал наизусть стихи Владимира Солоухина и привил мне любовь к ним – до сих пор я помню стихи про чудака, ищущего в тайге свое счастье!

Был еще парень лет восемнадцати, пасынок врача нашей больницы Елены Яковлевны. Мы втроем очень подружились и называли друг друга «Человек», имея в виду человека с большой буквы, чье имя, по Горькому, «звучит гордо». Все мы интересовались литературой и пробовали писать. Во всяком случае, Ватолин Иван собирался стать писателем. Потом он уехал в город Волжский, и мы с ним некоторое время переписывались.

Так вот, однажды был какой-то праздник и всю местную молодежь возили на машинах в Ракшинские леса. Там, на опушке леса, было устроено гулянье. Я доверил своему другу Ивану Ватолину поговорить с Верой обо мне. Он согласился. Они отошли в сторону леса, погуляли и объяснились. Она ему сказала, что «Витя хороший человек, но ты мне нравишься больше». Словом, как в песне:

Однажды в любви я признаться Доверил дружку своему...

Но дружбу я ценил выше отношений с девушками. Мы остались с ним друзьями, только теперь на свидания с ней ходил он, а не я.

Вообще в ней было что-то роковое, причем наследственное. Во-первых, наследственной была красота. Ее мать имела какое-то не деревенское имя Марго, хотя, может быть, это было и прозвище. О ней до меня доходили слухи, передаваемые старшим поколением.

Их роман длился тоже недолго. Вскоре мы узнали, что Вера вышла замуж за какого-то таджика и уехала жить к нему на родину. Ее дальнейшей судьбы я не знаю.

После Веры я увлекся младшей сестрой Шуры Елизаровой, по которой давно страдал и даже успел отстрадать. Младшую сестру звали Лидой – ей я посвящал свои стихи: «Лида, Лида, ты ли это, Лида?..» и далее в том же роде.

Еще была девочка из «Южной Америки», так называлась одна из деревень – самая окраина Веселого. Не помню ее имени, она училась в восьмом классе, и я ей очень нравился. Наши отношения дальше взаимных симпатий не пошли, но когда ездили в Ракшу на гулянье, мы ехали с ней вместе – она сидела у меня на коленях. Странно складывается жизнь. Многих женщин я забыл напрочь, а эту девочку помню. А и была-то всего эта поездка.

Особый разговор – встреча с другом детства Иваном Ивановичем Кречетовым. Прозвище у него было странное – Калмык. Почему – не знаю. В детстве мы с ним жили в Хомутовке, потом он переехал в Кочетовку, где жил рядом с Шурой Елизаровой. Я узнал, что он женился и живет с молодой женой. В барском саду я нарвал огромную охапку сирени и нес ее по Кочетовке так, что меня в этой сирени не было видно. Сирени оказалось целое ведро – так я поздравил их, желая столько счастья, сколько цветков в моем букете. Не знаю, счастлив ли он был или нет, но его женитьба была для меня событием, потому что мы были, что называется, не разлей вода.

Потом, уже перед моим отъездом, он должен был идти к жене, она жила в Куликах – это соседнее село. Я проводил его до школы, которая стояла недалеко от большака. Мы пожали друг другу руки, и оба со слезами на глазах долго стояли, смотрели друг на друга, словно предвидя, что расстанемся навсегда. Попрощавшись с ним, я собрал котомку, и рано утром тетя Таня проводила меня на большак. Сначала она меня отговаривала, а поняв, что бесполезно, – благословила.

Денег у меня с собой не было. Трудно понять, на что я рассчитывал, – у Горького, по моим понятиям, тоже не было. Но я не учел, что это была совсем другая Россия и народ был другой.

Я пошел большаком на юг, в сторону Сосновки, районного центра. Прошел несколько деревень, что стояли по обе стороны дороги, разговаривал по пути с местными жителями, спрашивал их, что за деревня, как живут и т. п. Народ в наших деревнях довольно дикий и подозрительный. Я шел с раннего утра часов до четырех дня, устал, нашел укромное местечко, съел пару яиц с хлебом и решил немного полежать в траве. Незаметно уснул, а проснулся от каких-то голосов. Слышу, говорят: «Вот тут он!..». Открываю глаза – на меня пялятся мужики, с ними милиционер: «Кто такой? Что тут делаешь?». – «Человек, – говорю, – вздремнул». – «Вставай, пойдем с нами». Привели меня к правлению совхоза. Там шло партийное собрание. Собрание прервали, все вывалили на улицу, услышав, что привели «шпиона». Что у них там было разведывать – непонятно. Обступили меня, я стою, опершись подбородком на палку. Все меня разглядывают, как в зоопарке. Тут я подумал, что зверям в клетке также неприятно, что мы их разглядываем. Задают разные вопросы, да еще с какой-то агрессией, будто я посягнул на их собственность. «Ну я же к тебе в деревню не иду смотреть, как ты живешь, чего ты сюда приперся».

Наконец приехала за мной милицейская машина и отвезла меня в Сосновское районное отделение милиции. Допросили меня и оставили в камере предварительного заключения. Предполагая, что будут дальнейшие допросы, я вспомнил, что у меня в кармане лежит записная книжка с какими-то политическими заметками сомнительного характера. Я решил от нее избавиться. Попросился в туалет – а удобства были на улице – и там выбросил ее в выгребную яму.

На другой день со мной провели воспитательную беседу и предложили в письменной форме раскаяться и сделать обещание прекратить бродяжничать и вернуться в Челябинск. В свою очередь, они предлагали возвращение за государственный счет в сопровождении мили-

ции. Этого мне никак не хотелось. Я солгал, что деньги есть, доберусь самостоятельно, хотя денег, конечно, не было. Затем написал покаянное объяснение и отправился обратно по тому же большаку. Так бесславно закончились мои попытки ходить «по Руси».

К вечеру я добрался до Хомутовки, тетя Таня накормила меня, и я завалился спать. Утром встал, ноги отнимались от усталости. Постепенно оклемался и уехал в Челябинск.

Добирался не без трудностей. Чтобы не помереть с голода, а ехать надо было двое суток – купил сахару-рафинада и утолял им голод. Сложнее всего было попасть в поезд. С трудом уговорил проводницу впустить меня в вагон, обещая ехать в другом вагоне, не у нее. В каком-то вагоне забрался на верхнюю полку и, не слезая и не шевелясь, пролежал там двое суток. Пассажиры забеспокоились – жив ли я. «Жив, жив! – поспешно ответил я. – Никого вызывать не надо!» Меня, видимо, поняли, и я благополучно доехал до Челябинска на сахаре и доброте людской.

Снова Челябинск

Последний год перед университетом я много занимался, много срисовывал разных картинок, посещал картинную галерею, даже писал рецензию на какую-то выставку. Сочинял пословицы и поговорки и носил их в дом народного творчества, но там мне объяснили, что пословицы сочиняет народ, а не авторы.

В это же время я сделал попытку написать роман на нашем деревенском материале из времен Гражданской войны, опираясь на рассказы матери о том, как у нас проходила эта война и как много «наших» тогда побили. К этому времени я уже прочитал «Тихий Дон» Шолохова, «Даурию» Константина Седых, «Одиночество» Николая Вирты и еще несколько эпохальных сочинений о Гражданской войне. Мне захотелось написать что-то подобное. Написав несколько глав в огромной общей тетради, я вдруг понял, что «наши» – это вовсе не красные, а именно красные побили из пулеметов много наших мужиков. После этого открытия вся моя концепция рухнула, и у меня пропало желание продолжать написание этого романа.

Жанр романа меня привлек неслучайно. Еще в детстве как-то зимой за неимением других книг я трижды прочитал «Далеко от Москвы» Василия Ажаева, «Молодую гвардию» Фадеева, а в строительном училище «В лесах» Мельникова-Печерского и «Амур-батюшка» Николая Задорнова. Романы давали широкое полотно жизни, и мне хотелось быть таким же щедрым на события писателем.

Но неудача с моим первым романом настолько обескуражила меня, что я вообще к романам как таковым утратил интерес и позже читал романы не столько для удовольствия, сколько для образования – так было с романами Томаса Манна и Федора Достоевского, хотя прозу Пушкина, Тургенева и особенно Гончарова – «Обломов» – я читал с большим удовольствием. Уже в весьма зрелом возрасте с большим увлечением читал эпопею В. Личутина «Скитальцы». Но это особый случай. С тех пор у меня никогда не появлялось желания написать роман.

Готовясь к выпускным экзаменам в школе рабочей молодежи, я уже знал, что буду поступать в Ленинградский университет на философский факультет. Почему в Ленинградский, а не в Московский, точно объяснить не могу, но в то время я посмотрел фильмы «Коллеги», «Звездный билет», «Сережа» – там всюду был Ленинград, мне это нравилось – Нева, залив... Но, может, и не в них дело. Так или иначе, я собрал документы, послал в приемную комиссию университета и, получив вызов, в августе 1963 года выехал в Ленинград.

Думаю, что дала плоды придуманная мною система жизнеобеспечения. Это были первые годы после денежной реформы в 1961 году. Я жил на один рубль в день. Утром шел в столовую, на завтрак ел кашу или винегрет с чаем, на обед брал суп, котлету с картошкой или камбалу – тогда эта рыба была дешевой, чай или компот. Вечером тоже одно блюдо и чай. Хлеб был бесплатным – ешь, сколько хочешь, он всегда высился горой посреди стола. Можно было сесть за стол, взять чай и пить его с хлебом. Всегда стояли горчица и соль. Но один хлеб я не ел – всегда хватало еще на винегрет или кашу. Можно было также за тридцать копеек купить бутылку кефира или молока и батон за тринадцать копеек. Для молодого организма еда была вполне подходящей.

Еще в Челябинске я услышал имена Евтушенко и Вознесенского. Вознесенского показывали в каком-то документальном фильме в кинотеатре документального кино. Доходили какие-то слухи о Борисе Пастернаке, но глухо.

Вспоминается гостиница «Южный Урал», рядом – большой книжный магазин, и в нем маленькие книжечки уральских поэтов – Якова Вохменцева, Марка Гроссмана (синенькая в твердом переплете, в ладонь величиной). С любовью вчитываюсь в нее и нахожу какие-то нужные для себя слова, но в памяти, к сожалению, нет ни строки, а хотелось бы узнать сейчас, что же тогда меня в них волновало? Помню и книгу Валентина Сорокина, по которой его приняли

в Союз писателей СССР. Рецензия на эту книгу заняла целый подвал в «Вечернем Челябинске». Так или иначе, но для меня очень важен сам факт присутствия этих книжек в памяти и в моей жизни того времени. В памяти остались те самые минуты, когда я раскрывал (открывал) эти книжечки. В то время они были для меня своего рода откровением.

Дополнение

Излагая более или менее последовательно события моей жизни в Челябинске, я кое-что выпустил из внимания, но рассказывать все эти мелочи по тексту не хочу, а приведу их здесь в виде беспорядочных заметок.

В Челябинске я впервые увидел троллейбус и трамвай. Впервые побывал в цирке. Цирк меня не увлек. Да я, кажется, за свою жизнь в цирке побывал не более пяти раз. Посещал и планетарий.

В первые годы моей жизни в Челябинске была обширная барахолка, где шла продажа подержанных вещей. Чего там только ни продавали! Я подолгу наблюдал за жизнью барахолки, видел разных нищих, в том числе и просто мошенников, косивших кто под слепого, кто под безногого.

Запомнился старик-татарин, игравший на дудочке татарские мотивы. Барахолка находилась на горе, неподалеку от кладбища, между цинковым заводом и районом ЧМЗ. Мимо барахолки проходило шоссе, которое за городом называли уже Свердловским. На окраине города стояли роща и большая татарская слобода, где стояла мечеть и по вечерам можно было слышать завывание муэдзина, созывавшего мусульман на службу. По этому шоссе, километрах в десяти от города, есть татарское село Казанцево. На кладбище этого села в 1988 году найдет упокоение моя мать. Об этом у меня есть стихотворение.

* * *

Мать моя похоронена на кладбище
села Казанцево близ Челябинска

Страдали мы от немцев и татар –
е позавидуешь такой народной доле.
Один пожар сменял другой пожар.
А между ними было Куликово поле.

Отца убили немцы на войне.
С татарами мы жили рядом.
И прожигала сердце мне во сне
Татарка Дина жгучим взглядом.

Мать умерла. Ее похоронили
На кладбище татарского села
И рядом с ней теперь лежит в могиле
Старушка Шиллер, что вблизи жила.

Обнесены они одной оградой.
Еще прочесть возможно имена.
Здесь Кречетовы с Шиллерами рядом
На вечные спустились времена.

И вот стою я на границе поля.
Где меж татар и русскими – межа.

Земля у нас одна, одна и доля.
И вместе наши пращуры лежат.

Когда я приехал в город, там был район, застроенный одноэтажными домишками и хибарами, назывался он Шанхай, наверное, за густую застроенность. Трудно даже вообразить ту трущобность, непролазную грязь и темень, которые там царили. Даже днем туда было страшно заходить. Но в семидесятые годы там выросли многоэтажные дома, и все это стало походить на город. Такой район был не единственный в городе.

В пятидесятые годы еще не редкость были концлагеря, которые располагались на окраине. Работа заключенных на стройках города была в порядке вещей. Когда мы, ученики СУ № 42, были на стройке на практике, рядом с нами работали под охраной и ээки.

В районе ЧГРЭС стояла тюрьма, и тут же поблизости находилась улица Свободы. Когда трамвай ехал мимо, кондуктор объявляла остановки: «Свобода» – следующая «Тюрьма», а обратно: «Тюрьма» – следующая «Свобода». Это было предметом мрачных шуток, но по-своему и приметой времени.

Очень любил бывать в зверинце. До Челябинска я нигде зверей не видел. Все звери были в клетках. Это было, конечно, ужасное зрелище, но я то время об этом не думал.

Иногда мы с Володией Кононовым купались в реке Миасс прямо в центре города. Не мы одни – народу купалось в реке уйма. Да, видимо, в этом месте вода была еще чистой.

Однажды брат повел меня на стадион, где происходил футбольный матч. Смотреть мы ходили на игру вратаря Хомича, приехавшего с какой-то командой. Игра мне понравилась и сама атмосфера стадиона тоже. Но это был единственный в моей жизни матч, который я смотрел на стадионе, а не по телевизору.

В Челябинске брат и Володька Кречетов (Летов) однажды в жаркий летний день встали в очередь к пивному ларьку, купили пива себе и кружку мне. До этого я ни разу его не пробовал. А когда попробовал, то удивился – чего они в нем находят? Теперь, когда я и сам покупаю пиво, я твердо могу сказать, что такого вкусного пива, как тогда, я никогда и нигде не пил. Вкус остался в памяти и поныне.

Позднее, когда я уже работал, брат водил меня в ресторан в центре города. Там мы пили бутылочное пиво, и я впервые познал, что дурь от пива хуже, чем от всего остального.

В ресторане стояли еще старорежимные швейцары, и музыка была такая, о которой теперь говорим «ретро». В то время я еще не понимал, что самое интересное – это люди. В то время было по шестьдесят с небольшим тем, кто родился еще в девятнадцатом веке. Странно сейчас думать, но в какой-то плотницкой бригаде с нами работал старик Рахим, он был 1897 года рождения, но в то время это еще не казалось древностью, хотя, конечно, его возраст и удивлял нас.

Во время работы резчиком по металлу на машиностроительном заводе я стал увлекаться кибернетикой, о которой что-то можно было вычитать в журнале «Наука и жизнь». Я стал наделять механизмы человеческими качествами, мне иногда начинало казаться, что механизмы-роботы действительно могут обладать душой. В этом я был близок к тому, что иногда начинал верить в театральные спектакли как в реальность. Потом, конечно, прошло.

Некоторое время мне случалось бывать, и довольно часто, в молодежном городке, где брат получил место в общежитии. Молодежным городком назывались несколько барачков-общежитий, где жили молодые рабочие. До сих пор помню лица многих из них. Иногда я играл с ними в волейбол, случалось вместе выезжать на загородный отдых, на какие-то озера

в области. Озера там в основном соленые, и плавали в них какие-то непривычные для моего глаза сикарахи.

Почему-то запомнилась кастелянша какого-то общежития татарка Физа, пожилая, но не лишенная привлекательности для холостяков. Долгое время собирался написать о ней рассказ, но пока не собрался.

В одном из таких общежитий первое время жила моя мать, когда она приехала в Челябинск. Она устроилась уборщицей на завод и была этой работе рада, потому что в родном селе она вообще ни рубля не получала.

Два слова о самом облике Челябинска. Когда я жил там, мне нравились дома-многоэтажки, обычные дома без архитектурных ухищрений. Я в то время был ненавистник всего старого, и старые одноэтажные и двухэтажные дома мне не нравились. Мне казалось, что там, за глухими засовами, все еще живет что-то старое, отринутое революцией. А я верил в построение светлого будущего – социализма и коммунизма. Теперь же вспоминаю с какой-то грустью тихие уютные улочки старого города и даже архитектура послевоенного времени приобрела какие-то привлекательные черты.

Некоторое время изучал жизнь тех, кто обретался у церковной ограды. Бывал и на крестном пасхальном ходе. Но церковь интересовала меня не сама по себе, а теми людьми, которые возле нее кормились. От них веяло старой нищенской Россией, не Россией вообще, а именно – нищими, юродивыми, каликами переходжими.

Тогда я увлекался народными песнями, и все это вместе сливалось у меня в единую картину, которую я застал еще живой.

На этом, пожалуй, свое «дополнение» завершу и перейду к Ленинграду.

Ленинград

Университет

Заканчивая школу рабочей молодёжи № 21 в Челябинске, я размышлял, куда поступить учиться. Мысли у меня были самые странные. Я думал о философском факультете в Тбилисском университете. В то время я читал Сулхана Саба Орбелиани и грузинская культура была привлекательна для меня. Само собой, конечно, что и «Витязь в тигровой шкуре» тоже вошёл в моё сознание. Думал также и о Ташкентском университете, хотя не знаю, был ли там философский факультет. Я читал Алишера Навои, поэма «Лейли и Меджнун» очень мне нравилась, и восточные мотивы жили в моём сознании. Были и другие мысли, но верх над всем взял Ленинград. Наверное, решающее значение в пользу этого выбора имел фильм «Коллеги». Тогда ещё прошёл фильм «Серёжа» по роману Веры Пановой, где роль Серёжи играл юный Николай Бурляев. В этих фильмах был представлен образ города таким, что мне захотелось в нём жить и учиться. Я послал документы на философский факультет Ленинградского государственного университета, получил вызов на экзамен и в августе 1963 года стал абитуриентом.

Сойдя с поезда на Московском вокзале, я сдал чемодан в камеру хранения и вышел на Невский проспект. Вечерний город был душен, полон празднующихся молодых людей. Пройдя пешком весь Невский, я вышел к Дворцовому мосту и остановился у каменного парапета.

Тут я стал свидетелем разговора компании юношей из трёх или четырёх человек.

– Пойдём на Невский! – сказал один.

– Да чего там делать?! – воскликнул другой.

Они постояли минуту-другую, препираясь, идти или не идти на Невский, и вяло тронулись в сторону Дворцовой площади. А я удивлялся нелепости, как мне тогда казалось, вопроса: «Чего там делать?!» Как «чего», думал я, это же Невский проспект, там много чего можно делать и даже если вообще ничего не делать. Конечно, для тех, кто здесь вырос, реакция нормальная, а для меня, ошеломлённого такой концентрацией красот, это казалось диким.

Ночь я провёл на Московском вокзале. На следующий день поехал в гостиницу «Россия» и устроился там. Запомнился вестибюль гостиницы, наполненный китайцами, в то время была ещё популярна песня «Москва – Пекин»... Дружба между народами была очевидной. Получив номер на каком-то из верхних этажей, я подошёл к окну и очень удивился. Из окон открывался вид на пустырь, за которым дымились какие-то трубы, были видны железнодорожные пути, по которым перестукивались вагоны. В общем, я решил, что гостиница находится где-то на окраине, в промышленном районе, но уже через три года на этом пустыре вырос студенческий городок, куда и я переселился. Ну, а сегодня и вовсе никому не пришло бы в голову, что гостиница «Россия» находится на какой-то окраине. Этот район давно уже обустроен, а город отодвинул свои границы далеко на юг и на юго-запад. Но возвращаюсь в 1963 год.

В гостинице я прожил сутки. Уже через день мне предоставили место в университетском общежитии, в знаменитой «шестёрке» на Мытнинской набережной. Место замечательно тем, что рядом были все знаковые учреждения города: за Невой – Эрмитаж, Адмиралтейство с Исаакием, стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами, здание биржи, Пушкинский Дом, Петропавловская крепость. И всё это вблизи университета.

Университет просто очаровал меня – и здание Двенадцати коллегий, и филфак, но особенно здание философского факультета, в котором когда-то был биржевой Гостиный двор, построенный в стиле всех гостиных дворов России, с итальянской аркадой по периметру здания, под которой приятно пройти.

Был жаркий август. Начались вступительные экзамены. Тревожная, но весёлая пора светлых надежд. Будущее рисовалось в каком-то романтическом ореоле.

Мне дали место в большой комнате человек на шесть на шестом этаже. Окна этой комнаты выходили на Неву, с видом на Зимний дворец и стрелку Васильевского острова. Пока я был абитуриентом, в этой комнате жил Виктор Михайлов. Археолог, он был наполовину якут и, по-моему после третьего курса уехал к себе в Якутию. В августе, пока я сдавал экзамены, он жил в комнате и к нему приходили разные интересные люди, из которых я запомнил гватемальского поэта Роберто Обрегона Моралеса, широко печатавшегося в том числе в «Иностранной литературе», друга Андрея Вознесенского, посвящавшего ему стихи. Этот поэт потом был убит стрелком при его нелегальном переходе через гватемальскую границу. Среди других запомнился студент-историк третьего или четвёртого курса Слава Баранов, человек редкой исторической начитанности. С ним я встречался не однажды уже после окончания университета, пока он не исчез из виду. Он был интересен тем, что отдавал должное американским победам на Тихом океане, считал, что без американского вклада мы бы войну не выиграли. Аргументации его я не помню, но в то время у меня не было оснований сомневаться в его знаниях. У него была очень своеобразная манера разговаривать. Он говорил быстро-быстро, шепелявя и наседая на собеседника так, что трудно было вставить в его речь какую-нибудь реплику. В моих глазах он обладал значительным авторитетом, по крайней мере на первом курсе. В этой комнате, дальней по коридору, я жил на первом курсе с Борисом Макаровым, а этажом ниже под нами жил мой друг Слава Соломонов. В том, что я решил поступать на философский факультет, был некоторый авантюризм. Всё-таки знания, полученные мною в ШРМ № 21 в Челябинске, были весьма скромны. Немецкий язык я учил по самоучителю и вообще мог не сдать, история – предмет, требующий обширных познаний. Единственное, в чём я был уверен, это сочинение. У себя в школе я за сочинения получал всегда 5/5, в крайнем случае – 5/4. Первая оценка – за литературу, то есть за содержание и композицию, а вторая – за русский язык, который, по моим понятиям, я знал хорошо. Я, конечно, заблуждался. Более или менее мне удалось подтянуть свои знания по русскому, когда я стал работать в издательстве, где без справочника Розенталя я не мог и шага ступить. И теперь уже, перечитывая свои ранние записные книжки, я вижу ошибки против правильного написания. Экзамен по сочинению нанёс моему самомнению сильный удар – я взял свободную тему и получил за литературу «удовлетворительно», оценку по русскому теперь уже не помню. Все остальные экзамены – по немецкому языку, по русскому устно, по истории я сдал, как ни странно, на «хорошо».

В тот год была такая система сложения оценок – учитывался средний балл по аттестату зрелости (у меня был 4,6) и средний балл в аттестате по профилирующим дисциплинам (у меня был 5), возможно, я уже что-то подзабыл. Так или иначе, у меня получилось 29,1 балла, а проходной балл был 27 с чем-то. Эта система и спасла меня.

Во время вступительных экзаменов я познакомился с Игорем Портнягиным, мы жили в одной комнате. Игорь был в десять раз образованнее меня, он поступал на модное тогда археологическое отделение исторического факультета. Там был жуткий конкурс, и Игорь уже несколько лет приезжал из Сызрани сдавать экзамены и проваливал. Провалился и на этот раз. Я уже учился на втором, потом на третьем курсе, а он всё приезжал сдавать экзамены. В конце концов поступил, защитил кандидатскую диссертацию, а далее он исчез из моего поля зрения.

Среди других абитуриентов я близко сошёлся с Васей Стрельченко, он теперь давно уже профессор, заведующий кафедрой философии и т. д. Абитуриентами помню Валерия Крамника из Риги, увы, уже покойного, Володю Рабиновича, взявшего себе потом фамилию Кирсанов, Бориса Макарова, Бориса Воронова. Со всеми остальными познакомился, уже будучи студентом.

Сразу же по зачислении на факультет нас направили копать картошку в посёлок Цвелодубово, недалеко от Зеленогорска. Поселили в бывшей финской усадьбе на берегу Нахимов-

ского озера, где в это время, кажется, была начальная школа – такое у меня смутное воспоминание. Особняк был большой, на первом этаже жили, очевидно, постоянные жильцы, а всю нашу группу поселили на втором. Недавно известный философ и эстетик Александр Казин издал книгу воспоминаний «Частицы бытия» (СПб., 2013), в ней между прочим написано и об этой поездке. Воспользуюсь и его памятью тоже. Вот что он пишет в главе «Однокашники и однокашницы»:

«Поселили нас в большом деревянном строении – то ли бывшей школе, то ли клубе. Спали мы прямо на полу, на матрасах, набитых сеном, хотя были и простыни, и подушки. Впрочем, особых неудобств никто не испытывал – ребята в основном были опытные, что называется, тёртые. Я с удивлением обнаружил, что я – почти единственный ленинградец на курсе: все остальные были глубокие провинциалы. Кроме того, почти все, в отличие от меня, служили в армии. Среди них было несколько настоящих здоровяков-матросов, прошедших неплохую школу жизни. Помню, я чем-то разозлил одного из них, он схватил меня за грудки, подержал некоторое время на воздухе, но потом отпустил <...>.

В общем и целом, ребята были неплохие, хотя какими-то специальными «философскими» качествами не отличались. Помню, как следует выпив, тот же Саша (рассказ о нём я опустил. – *В. Кр*) жаловался вслух: «Вот я думал, когда поступал, куда я лезу, там великие умы, мыслители – а встретил вот этого!». И показал на такого же служивого, как он. Впоследствии многие из них стали тем не менее профессионалами в своём деле, хотя не обязательно в философии. Руководил всей нашей группой аспирант Валера Вершинин – лет через десять судьба свела меня с ним на паркете Большого дворца Петергофа. Был там ещё Витя Кречетов – ныне прозаик и поэт, член Союза писателей России. Самую успешную карьеру во всех планах сделал Саша Корольков – теперь он доктор философских наук, академик РАО, зав. кафедрой факультета философии человека РГПУ имени Герцена, писатель, православный мыслитель. Тогда он был уже на четвёртом курсе, мы, салаги, смотрели на них (четверокурсников послали с нами группой из четырёх человек), как на небожителей. Помню, я робко спросил его, какая у него тема курсовой работы. Он посмотрел на меня и сказал: «Да чего спрашиваешь, всё равно не поймёшь». Наверное, он был прав – тем более что писал он что-то по философским вопросам биологии».

Я охотно процитировал здесь Казина потому, что под всем этим я и сам подписываюсь. Хочу только кое-что добавить. Казин правильно отметил, что почти все служили в армии и все были провинциалами. Сам я в армии не служил, но это не бросалось в глаза, так как прошёл к тому времени достаточно суровую школу, начиная с учёбы в СУ № 42 в Челябинске. Во всяком случае, у меня были навыки общения в крепкой мужской компании, поэтому у меня никогда не бывало пустых конфликтов и я никогда сам никому не позволял относиться к себе неподобающим образом. Казин же был совсем юный, на три года моложе меня, то есть у него был возраст школьника. Но я был действительно провинциал и даже завидовал начитанности Казина – он читал Блока наизусть, а я, кроме стихотворения «Поэты» да «Незнакомки», ничего не знал. У Лёни же, как мы его тогда звали, Блок был любимым поэтом, к тому же он сам писал стихи. Впрочем, стихи писал и я, только к моменту поступления на философский факультет я перестал писать и стихи, и прозу. Более того, я как философ-метафизик пришёл к убеждению, что никакая художественная литература вообще не нужна, потому что вся мудрость есть в философии. Помню, я тогда спрашивал Валеру Вершинина: «Зачем нужна художественная литература?». Юный аспирант пытался как-то втолковать абитуриенту, ещё не проучившемуся и дня на факультете, что литература тоже нужна, но так и не убедил меня.

А между тем по рукам старшекурсников ходил томик стихов Эмиля Верхарна, и он поразила меня щедростью и плотским богатством жизни, жадной жизни и вместе с тем каким-то северным светлым мистицизмом и символизмом, затрагивая в душе какие-то новые струны, не звучавшие во мне прежде. И ещё помню чтение Борисом Макаровым стихов Саши Чёрного:

«Капитан, я российский писатель...». Или: «Вместо фиников – морошка. / Холод, слизь, дожди и тьма – так и тянет из окошка брякнуть вниз о мостовую / Одичалой головой...», «Квартирант и Фёкла на диване...» или «Ревёт сынок...». И это для меня был целый мир. И «морошка» каким-то образом соединялась в моём сознании с черникой и со всем северным пейзажем – с соснами, с озером. Весь этот мир северной природы только-только начинал приоткрываться для меня. И Блок, и Саша Чёрный, и Эмиль Верхарн с той поры навсегда вошли в мою жизнь.

Тот месяц, проведённый нами в колхозе, оставил в душе много разных воспоминаний. Запомнилось, как иногда возвращались мы ночью в нашу усадьбу, ночи были тёмными, небо звёздным, от которого я уже отвык в городе. Однажды в клубе показывали фильм «Приключения Одиссея», и, когда мы шли к себе лесной дорогой, я всё время смотрел на звёздное небо и чувствовал себя где-то там, в Древней Греции, – ведь им светило всё то же небо, и оно связывало нас через наши взгляды, которые пересекались где-то там.

Каждый день кто-то из нас ездил на подводе за молоком и привозил к ужину бидон молока и хлеба. Мне тоже случалось дежурить. Однажды я догнал на дороге девочку которая шла к нам. «Ты к Сашке?» – спросил я. «Ага!» – «Садись, подвезу!» – предложил я. Она села, и я довёз её, по дороге мы разговаривали с ней. Она закончила четыре класса, перешла в пятый, дочка местной учительницы. И по-детски, а может, и не по-детски, влюбилась в студента-четверокурсника Сашку Королькова. А в него трудно было не влюбиться – красив был какой-то утончённой красотой, ну, дитя и растаяло. Она приходила к нему, о чём-то они говорили... О чём можно говорить в таком случае? Но это метафизика любви. А потом, много позже, я написал об этом рассказ «Журавли», где Корольков назван Пьянковым. Теперь, через пятьдесят лет после этого, мы иногда встречаемся с Александром Аркадьевичем в Союзе писателей на каком-нибудь вечере, и я напоминаю ему о той девочке. Наверное, травлю ему душу да и себе тоже.

На работу нас возили на машине, а возвращались мы обычно лесной дорогой, километра два пешком. Много пели, напому репертуар: «За пять лет трудовых лагерей...», «У Геркулесовых столбов...», «Охотный ряд...», «За что же Ваньку вы Морозова?...», «За что нас только бабы балуют?...», «Всю ночь кричали петухи...», «Уходит взвод в туман, в туман, в туман...». Были и ещё какие-то, память отодвинула их в дальний угол. А ещё была такая песня: «Холодно, голодно, нет кругом стен!...». Но это совсем уже неприличная и, думаю, когда мы горланили её, идя лесом, то всё живое содрогалось от ужаса и, казалось, не дай Бог оказаться на пути у этой оравы. Хотя всё это было напускное, молодецкое. В сущности, многие были с нежной, ранимой душой.

В свободные от работы часы, конечно, жизнь шла беспорядочно. Возникали всякого рода мужские притирки – все были молодые, здоровые, с амбициями. Как-то мужикам пришлось в голову поднимать огромный мешок с картошкой. Стали соревноваться те, чья сила бросалась в глаза. Один попробовал, другой, третий. Подошёл Борис Иванов, довольно высокий, поджарый. Легко вскинул мешок на плечо и отнёс его. Сразу стало видно, кто есть кто. В другой раз он же влетает на второй этаж, где мы отдыхали после работы, запирает за собой дверь и в дверь начинает колотить какой-то мужик, с криком: «Убью, открой!»

Я знаю, что ты тут!». Боря выпрыгнул в окно. Открыли дверь. Мужик успокоился. Потом Борис вернулся, и мы узнали, что мужик приревновал его к жене, а может, и застал с женой, теперь уж не помню.

После этих двух «мужских» поступков Борис, конечно, стал своим человеком, авторитетом, на которого можно всегда положиться. Но, забегая вперёд, скажу: уже после окончания факультета мы случайно узнали, что Боря работает на КГБ. Причём, как иногда бывает, «разоблачила» его жена, Валя Бутузова, студентка, которую не захотел брать в аспирантуру М. Шахнович. «А что, я виновата, что ли, если Боря в КГБ работает?» – посетовала она однажды.

Этого никому в голову прийти не могло. Борис Иванов окончил аспирантуру и стал курировать от комитета работу «спецхрана».

Теперь, конечно, это трудно понять, но раньше наличие агента в той или иной среде было, видимо, нормой. Но, с другой стороны, Борис был умница и никаких гадостей он не делал, просто выполнял свою работу – не более того. В те годы политические взгляды имели значение не только для государственных структур. Это играло роль и в самой жизни. Как-то там, в Цвелодубово, не помню, кто именно, стал говорить что-то непотребное о советской власти. Тогда Вадим Иванов, ярославец, взял его за грудки и потряс: «Ты лебеду жрал?! А я жрал!». Это означало, что, слава Богу, больше лебеды не жрём и это – заслуга Советской власти. И, пожалуй, он был прав. Но об этом говорить долго.

Эта поездка многое для меня значила, и совершенно случайно я посетил нашу цвелодубовскую усадьбу через год, но об этом скажу в своё время. Итак, нас вывозят из колхоза на машине и мы горланим:

Слезайте, граждане, приехали, конец!
Охотный ряд, Охотный ряд!

Первого занятия я не запомнил. Скорее всего, оно проходило в аудитории № 150. Это самое большое помещение на факультете, и все общие лекции проходили там. На первом курсе большинство дисциплин читалось одновременно для всех групп. По группам в разных аудиториях проходили занятия языком – было две или три немецкие группы и столь же английских. Семинары тоже проходили в других аудиториях, небольших, мест на двадцать-тридцать.

На первом курсе были общеобразовательные дисциплины, такие как химия, физика, высшая математика, антропология, этнография, биология, логика, а также диалектический материализм и история древнегреческой философии. Именно история философии Древней Греции нравилась мне более всего. Лекции читала Вера Яковлевна Комарова, настоящая философия, толковавшая нам фрагменты древних философов. Настольной книгой для нас была книга «Материалисты Древней Греции» – собрание фрагментов сочинений философов начиная с Гераклита.

Вера Яковлевна была женщина лет сорока пяти, доцент, с весьма своеобразной манерой речи – она как-то шепелявила, и рот её кривился в правый угол. Но это ей даже шло – казалось, что философией древних и должен заниматься такой человек, тем более что это женщина. Она знала нас по именам и относилась к нам по-доброму, то ли по-дружески, то ли по-матерински. Запомнился мне один такой забавный случай: я был дружен со Славой Соломоновым, мы и на лекциях её, и на семинаре сидели рядом. Слава был постарше меня, ему было уже двадцать шесть лет. Он к этому возрасту уже многое повидал – служил в армии, пел в церковном хоре, побывал в психиатричке с белой горячкой... Он и теперь продолжал пить и в этом состоянии приходил на занятия и нередко засыпал. Однажды в коридоре ко мне подходит Вера Яковлевна и тихонько на ухо шепчет: «Клечетов, уведите Соломонова, он совсем пьян, неплюятности будут!». Я, ссылаясь на Веру Яковлевну, попробовал уговорить Славу уйти с занятий, а он относился к ней с любовью и на этот раз послушал совета. Впрочем, Соломонов любил не только Веру Яковлевну... Заместителем декана у нас была Светлана Николаевна Иконникова. Она вела семинары по истории этических учений у студентов третьего курса. Ей было, наверное, чуть за тридцать, ну не более тридцати пяти. Красивая, с открытым чистым лицом, с ясной, располагающей улыбкой, она влюбила Соломонова в себя. И он частенько ходил к ней на её семинары. Как-то он сетовал мне: «Платон, (такую кличку он мне дал), понимаешь, неудобно как вышло – попросился к Светлане Николаевне на семинар, ну выпил и уснул. Стыдно как!».

Время было демократичное, ректором университета был академик Александров, а Светлана Николаевна, как говорили, доводилась ему племянницей. Она была доброжелательна к

студентам и на лёгкие провинности закрывала глаза. Я и сам как-то попался ей на глаза в коридоре, когда уже шла третья лекция.

- Кречетов, а вы почему не на лекции?
- Светлана Николаевна, я кошку из канала Грибоедова пытался вытащить!
- Ну и вытащили?
- Нет, утонула...

А и действительно было так. Кажется, на втором курсе. Мы жили тогда в общежитии в Старом Петергофе и от Балтийского вокзала ездили на автобусе № 10 до университета. Я сошёл пораньше, чтобы прогуляться по городу. Ну и вижу – плывёт по каналу и истошно и безнадежно мяукает... Все мои усилия вытащить её ни к чему не привели, а времени потерял много. Наверное, для студента-философа не очень уважительная причина для опоздания, но Светлана Николаевна не стала вдаваться в подробности и не сделала мне внушения. Я думаю, с Соломоновым ей было непросто, поскольку она видела, что он влюблён в неё. Может быть, это даже имело бы какое-нибудь продолжение, если бы не трагический случай, произошедший с Соломоновым. После первого курса мы все разъехались на каникулы, а с каникул Соломонов не вернулся. Его нашли в конце августа под железнодорожным мостом где-то в Подмосковье, кажется, родом он был из Коломны. Что произошло с ним, мы так и не узнали, – то ли его убили, то ли он сам выбросился из поезда. То и другое вполне могло случиться. В поездах он ездил только пьяным и, бывало, вместо Ленинграда приезжал в Петрозаводск. А будучи пьяным, мог приставать к кому-нибудь, доказывая, что он – Сократ. Не раз приходилось весной удерживать его, когда он, свесившись из окна, кричал: «Синь-то какая! Раствориться, раствориться бы в ней!».

В конце мая и в начале июня мы с ним частенько лежали на песке у Петропавловской крепости, загорали. Однажды, когда выстрелила пушка, на нас сверху посыпались обугленные и ещё дымящиеся кусочки пыжа, и мы их сбрасывали, обжигаясь, с ног. Как-то у Петропавловской крепости я нашёл его на пляже и увидел на ноге у него цифры, написанные химическим карандашом.

- Слава, это чего у тебя? – спрашиваю.
- А, в вырезвители написали номер! – Он послунывил палец и стал оттирать цифры.

Зимой он нередко среди ночи в «шестёрке» пел «Хуторок» – голос у него был сильный, особого тембра. Люди выходили из комнат, слушали. В общаге на третьем этаже была учебная комната, там частенько горел свет и до трёх, и до четырёх-пяти, а кто-то сидел и до утра. Окна учебной комнаты выходили на площадь перед входом и на Неву. В белые ночи не раз при мне подходил он к окну, раскрывал его и, обращаясь ко мне, говорил: «Кречет, синь-то какая, а, раствориться!».

Ездили мы с ним в Солнечное. С собой он, как правило, покупал портвейн – «777» или «33».

На первом курсе мы с ним и с Галей Бабкиной, студенткой психологического факультета, частенько проводили время вместе, и Слава как-то умел и меня втянуть в такое времяпровождение. Но с ним связано у меня одно анекдотическое воспоминание. Однажды поздней осенью, может быть, даже в декабре (во всяком случае, было весьма холодно), мы с ним зашли в магазин на улице Добролюбова и купили по бутылке кагора. На улице холодно, кагор холодный, а у меня хроническая ангина. Мне в Челябинске даже хотели вырезать гланды. Я, конечно, стал отказываться пить, но Слава каким-то образом подвиг меня, и я выпил на улице, в холод, из горла всю бутылку. На следующий день я встал без ангины, и с тех пор ангины у меня никогда не было. Похоже на анекдот, но всё было именно в такой последовательности.

Много позже я написал рассказ «Синь», в котором Соломонов выступает под именем Мамонова, я – как Тарабрин, а Галка Бабкина – это Сашенька. Слава Соломонов, пожалуй, самое сильное впечатление, оставшееся у меня от первого курса.

Запомнились два весьма значимых события этого года, бывшие в «шестёрке». Первое – это встреча с художником и режиссёром Николаем Акимовым, фигурой легендарной и знаковой для того времени. Помню, какой ажиотаж был вокруг его книги «О театре», вышедшей чуть позже. Сейчас этого не понять, а в те времена эта книга была как глоток свободы.

Ещё более громким событием того года была выставка картин Альберта Розина в актовом зале общежития. Особенно всех трогала картина, изображавшая падающую с табурета горящую свечу, на табурете лежала раскрытая книга, в которой славянской вязью было написано: «Наша Родина»... Выставку закрыли досрочно, говорили, что открыта она была под личную ответственность профессора эстетики М. С. Кагана.

Мы познакомились с художником, он бывал в нашей комнате, мы много говорили. Он читал Соловьева, Достоевского, Бердяева. Потом это имя надолго исчезло из моего поля зрения, и даже когда широко развернулось нонконформистское искусство, это имя я всё равно не встречал. Но однажды узнал, что Альберт Розин – это сегодня Соломон России, и теперь он, кажется, живёт в Париже.

Ещё сильное впечатление того года. Не помню, в рамках какой дисциплины мы изучали историю утопических учений, и, очевидно, это очень будоражило юные умы, и мы тоже мечтали о каком-то идеальном политическом устройстве государства. Образовался небольшой кружок человек из шести, желающих изучать политические науки дополнительно, за пределами университетской программы. В этот кружок помимо меня входили Борис Макаров и его приятель Борис Воронов, был еще молодой человек, не поступивший в университет, но оставшийся в Ленинграде на стройке. Это был земляк Макарова, оба они родом были из Прокопьевска. Кто был ещё – не помню. Все мы жили в общежитии, где встречи проводить было неудобно, и мы облюбовали для этого академическую столовую, располагавшуюся в полуподвале со сводчатыми потолками. Помещение было громадное, и там легко можно было найти уединённый уголок. Встречались по воскресеньям. Выбрали секретаря общества, который в большой тетради вёл протоколы наших заседаний. Разработали устав, определили задачи – всё как положено. Задачи, по-моему, были чисто просветительские, ничего свергать мы не собирались, однако у всех зачем-то появились конспиративные клички. Помню, одним из первых я делал доклад по естественному праву, проштудировав в университетской библиотеке «Естественное право» Куницына, лицейского наставника Пушкина.

Таких воскресных заседаний под протокол было несколько, потом, не знаю почему, встречи эти прекратились. До чего же молодость безрассудна! Если бы о нашем кружке стало известно в комитете госбезопасности, никто бы из нас не закончил университета, и вполне возможно, что продолжали бы мы своё политическое образование в Мордовских лагерях. Слава Богу, что ничего этого не случилось. Лет десять назад мы встречались с Борисом Макаровым, и, вспоминая эту страницу нашей студенческой жизни, Борис сказал мне, что наш «секретарь» живёт в Прокопьевске и тетрадь с протоколами находится у него. Может быть, когда-нибудь и она всплывёт как документ эпохи.

И поскольку я коснулся академической столовой, в быту просто «академички», скажу о ней несколько слов. В нашей жизни она играла немалую роль. Там можно было поесть, выпить пива – с этим было свободно, кажется, продавалось там и вино. Частенько мы бегали туда во время «окон» между занятиями. Иногда там назначали встречи, иногда знакомились – так случайно, за пивом, познакомился я там с художником Владимиром Лисуновым, о чём расскажу позже. Тут, помнится, уже после университета мы сидели с Виктором Кривулиным и разговаривали о немецкой поэзии, о Георге Тракле и Максе Даутендее. С Кривулиным я общался мало, но эта встреча была какой-то открытой и доброжелательной и потому запомнилась. Обычно он для меня был закрыт, и разговор бывал чисто формальный.

В столовой было отделение для профессуры, и там можно было ещё встретить Жирмунского, частенько Выходцева, воспетого поэтом Геннадием Григорьевым, да и ещё много кого.

Приведу здесь замечательное стихотворение Григорьева, названное им «Академическое», без которого я теперь и не мыслю университетские годы, как будто написал он его в то время. Впрочем, я университет закончил в 1968 году, а стихотворение Григорьев датирует 1974 годом – почти одно время.

Как сладко в час душевного отлива.
Забыв, что есть и недруг, и недуг.
Пить медленное «мартовское» пиво
В столовой Академии наук.

В соседнем зале – завтракает знать.
Я снова наблюдаю спозаранку
Холшевникова высохшую статью
И Выходцева бравую осанку.

Не принося особого вреда.
Здесь кофе пьют бунтарь и примеренец.
Сюда глухая невская вода
Врывается во время наводненьиц...

Академичка! Кладбищем надежд
Мальчишеских осталось для кого-то
Местечко, расположенное меж
Кунсткамерой и клиникую Отто...

Но не для нас! Пусть полный смысла звук –
Залп пушечный – оповестит округу
О том, что время завершило круг.
Очередной. И вновь пошло – по кругу.

Я здесь, бывало, сживал с восьми,
А ровно в полдень – двести! – для согрева.
Дверь на себя!
(Сильнее, чёрт возьми!)
И если вам – к Неве, то вам – налево.

Гардеробщикам в «академичке» Соломонов давал на чай металлический рубль, но вряд ли они его за это любили. В таких огромных чаевых было что-то плебейское, унижавшее самих гардеробщиков. Но всё же они брали, не отказывались. Чаевые, как, впрочем, и всё в этом мире, должны иметь свою меру, подобающую и случаю, и положению.

Была ещё и чисто студенческая столовая, попроще. Она находилась за памятником Сахарову, которого, разумеется, в то время не было. Там можно было за сорок копеек купить комплексный обед, а иногда и не заплатить за него. Поток студентов там был огромный, и не всегда уследишь за движением чеков. Это, конечно, нехорошо, но лучше, чем быть голодным, а я на первом курсе жил на студенческую стипендию, то есть на двадцать девять рублей, и ещё получал десять рублей от матери из Челябинска. Таким образом, в день я тратил чуть больше рубля, то есть столько, сколько Соломонов давал на чай гардеробщикам. Наверное, следует вспомнить, что нарезной батон стоил 13 копеек, а бутылка кефира – 30 копеек, причём если бутылку вымыть и сдать, то за неё возвращали 15 копеек. Без этого расчёта не понять, что за

стипендию получали мы на первом курсе. Не помню – на втором или третьем курсе нам стали платить по 35 рублей, это была существенная прибавка. Из этих денег иногда можно было даже купить какие-то книги. Кстати о книгах.

Тогда продавалось много хороших и недорогих книг. На книжном лотке около дома, где родился Блок, у входа в здание Двенадцати коллегий, довольно долго продавался трёхтомник «Жизнеописаний» Плутарха, изданный «Наукой» в серии «Литпамятники». Я до сих пор вижу эту стопку томов в красиво оформленных белых с красным шрифтом суперобложках. Мне тогда казалось, что ещё успею купить, лежат ведь – куда они денутся. Но довольно скоро Плутарх исчез с прилавка. В магазине «Академкнига» на Менделеевской линии продавалось много уценённых книг. Огромные тома Гиппократы были уценены до 50 копеек, но я решил, что Гиппократ мне не нужен. Продавались уценённые книги из серии «Библиотека поэта». Помню, томик Богдановича продавался за 10 копеек, а В. Озеров – за 30... Поначалу эта уценка дезориентировала меня, я к этим книгам стал относиться чуть пренебрежительно, хотя некоторые и купил. А вот мой однокурсник и приятель Борис Кеникштейн покупал уйму уценённых книг и собрал целую библиотеку, в которой было очень много восточных поэтов – Хайяма, Руми, Джамии и т. д. К слову сказать, с Кеникштейном мы близко сошлись уже на третьем курсе, когда нас перевели в общежитие на Новоизмайловском проспекте, где мы жили на третьем этаже в соседних комнатах, но о нём я скажу позже.

Сам учебный процесс мне запомнился мало – это было рутинное хождение на лекции и семинары. Впрочем, семинары по древнегреческой философии мне очень нравились и много давали пищи для ума. Греков я воспринимал на первом курсе как своих современников и мечтал со временем стать таким же крупным философом, как Гераклит или Демокрит. Мне нравились их звучные имена с указанием места их происхождения или проживания – Зенон Элейский, Аристотель Стагирит, Демокрит из Абдер.

Я даже придумал себе философский псевдоним Филипп Челябинский. Помню, я где-то записал это имя, а Боря Макаров, увидев его, спросил меня: «Что это значит?». Я испытал глубокое внутреннее смущение и, кажется, не сумел объяснить ему толком, что именно оно обозначает.

Наиболее основательные занятия были по немецкому языку, который вела старушка Шрайбер Цецилия Анатольевна. Это была весёлая, добродушная женщина. В группе нас было человек десять-пятнадцать, и на каждого из нас она вела список долгов. Если что-то не знаешь – правило или слова, она заносила себе в кондуит и время от времени, когда ты думаешь, что всё сдал, неожиданно раскрывала кондуит и спрашивала должок.

С помощью этой системы она подтянула мои знания настолько, что государственные экзамены по немецкому после пятого курса я сдал на «отлично», и я видел её радость и гордость за меня, когда экзаменаторы единодушно поставили мне «отлично», – я был целиком продукт её системы. Впрочем, забегая вперёд, скажу: года через два или три Коля Типсин уговорил меня сдать кандидатский минимум по-немецкому, на всякий случай. Он мне говорил, что готовиться к экзамену не надо, университетских знаний достаточно. И я действительно минимум сдал, но лишь на «удовлетворительно». Сказалось то, что за прошедшие после университета годы я языком не занимался. Но вернёмся на первый курс.

В одной со мной группе занимались Витя Новиков, он был моложе меня на три года, и Коля Типсин, он был старше меня на четыре года, ему было уже двадцать шесть лет, и мне он казался довольно великовозрастным, хотя на курсе были и постарше него. Например, Борису Емельянову из Свердловска было уже за тридцать, и он уже успел поработать инструктором в райкоме партии. Обычно, выходя после немецкого, мы решали, куда пойдём после занятий. Это были походы в кино или в какую-нибудь столовую или кафе, где можно было выпить и поесть.

Пили исключительно портвейн, закусывали же солянкой и брали ещё что-нибудь на второе. Мы как-то быстро сдружились – трудно сказать, почему. Причин, наверное, было несколько. Все имели о себе завышенное понятие, все трое не служили в армии, свободно высказывались в отношении к существующим порядкам. И Витя Новиков, и Коля Типсин были весьма начитанными. Я против них был совсем необразованным. Мне кажется, им нравилось иметь в моём лице благодарного слушателя, а они щеголяли своими знаниями друг перед другом. Вдвоём им было бы не так интересно. Витя Новиков читал сочинения Наполеона, Киплинга, которым он просто увлекался. И «Запад есть Запад, Восток есть Восток...» я слышал впервые от него. И «День – ночь, день – ночь мы идём по Африке...» – это во мне всё от него. Ещё он любил Бернарда Шоу и Анатоля Франса. Но вскоре и Наполеон, и Киплинг, и Шоу вошли в мою жизнь тоже. Наполеона я цитирую до сих пор и привожу для начинающих писателей как пример. Наполеон говорил: когда я въезжаю в какой-нибудь город, я смотрю на него с точки зрения того, как бы я его осадил, если бы мне пришлось его завоёвывать. Это – позиция настоящего полководца, завоевателя. Мне кажется, что и писатель на всё должен смотреть примерно так же: а как я об этом написал бы?!

Что касается Шоу, то я так им увлёкся в то время, что прочитал вообще все его сочинения, переведённые на русский. И до сих пор помню слова Юлия Цезаря, который ответил Теодоту, когда тот прибежал к Цезарю с просьбой потушить пожар Александрийской библиотеки: «Я сам писатель. Пусть горит! А египтянам полезнее будет думать о дне сегодняшнем, а не витать мыслями в мечтах!». По крайней мере таков был смысл его ответа. Конечно, это Шоу придумал такой ответ, но логика тут есть. Влияние Шоу на меня некоторое время было значительным. Помню даже, мы ходили в Театр комедии на спектакль «Физики» по Дюрренматту, и, выйдя из театра, я громогласно заявил: «Им не хватает немного Шоу!».

А Коля Типсин любил исторические романы – Гамсахурдиа «Великий Моурави», Генрика Сенкевича «Крестonosцы», Болеслава Пруса «Фараон», Эберса «Уарда». А. К. Толстого «Князь Серебряный», Мережковского, Ладинского и много кого ещё. Он хорошо знал и любил литературу конца XIX – начала XX века, особенно Леонида Андреева. Дома у него была великолепная библиотека, доставшаяся ему от родителей. Как он говорил, происхождения он был дворянского, гордился, что его деда, офицера царской армии, большевики (матросы) сбросили с Дворцового моста... Коля постоянно приносил из дома старые издания Саблина и Маркса. С его помощью я проглотил собрания сочинений С. Пшибышевского, Ола Гансона, Ж. Роденбаха, Г. Д'Аннунцио, Г. Гауптмана, Г. Ибсена, К. Гамсуна. Через него я познакомился с книгами А. Стринберга, С. Лагерлёф и многими другими – теперь даже не всё и вспомнишь. Через Колю я сблизился с польской литературой – К. Тетмайер, С.

Рыдель, Ст. Выспанский, Ц. Норвид. Всё это было для нас не пустым звуком. Сам Коля детство и юность провёл во Львове и пропитался польским духом, антирусскими настроениями, хотя высказывал их редко, сочувственно относился к католицизму. Некоторое время он носил чёрный китель с белым подворотничком, за что получил от нас прозвище «падре». Так мы его и звали – «падре» и гораздо реже по имени.

Коля был натурой тонкой и капризной, ему был присущ некоторый аристократизм, но, я бы сказал, аристократизм, испорченный советским бытом, всем строем нашей жизни. Он подражал герою романа Гюисманса «Наоборот», но я в то время этого романа не читал и не понимал, откуда проистекает эстетство моего друга. Позже, читая роман, я узнавал его в дез Эссенте – образ его мышления, жизненную позицию. Конечно, эта близость была условной, но она была.

Типсин закончил музыкальную школу. Для меня, едва знавшего ноты, о которых я получил некоторое понятие в челябинском культурно-просветительном училище, где проучился один год, его музыкальное образование было чем-то запредельным. Он был из интеллигентной семьи – мама работала психиатром, отец был полковником, но в то время родители его были в

разводе. Однако оба оказывали сыну материальную поддержку. От отца он получил в подарок именной «вальтер» и хвастался, что если что, то он им воспользуется. Иногда мы говорили о смерти, о болезнях, так вот, Коля отрицал для себя болезнь, беспомощность и т. п. и говорил, что если он доживёт до такого состояния, то воспользуется «вальтером». Забегая вперёд, скажу, что эта его готовность к «если что» сыграла роковую роль в его жизни.

Коля был однолюбом. В свои двадцать шесть он ещё не знал женщин. Потом, на четвёртом курсе, во время поездки в колхоз на уборку картошки, он познакомился с первокурсницей Аней Шушпанниковой и женился на ней. У них родилась дочь, которую Коля назвал в соответствии со своими историческими увлечениями Рогнедой, чем, думаю, доставил дочери немало неудобств.

Аня, жена его, была непростого характера, видимо, жизнь у них складывалась непросто. Однажды в состоянии аффекта она выбежала из дому на Серебристом бульваре, где они жили, и попала под машину. Коля её смерти перенести не смог, позвонил дочери, сказал, что мама погибла. Потом достал отцовский «вальтер» и, накрыв голову подушкой, выстрелил. Похоронили их на Старом Волковом кладбище, в одной могиле. Конечно, не будь у него «вальтера» и этой мысли – «если что», к которой он приучил себя, жил бы до сих пор. Впрочем, я забежал вперёд на целых четыре десятка лет.

Ну, а пока кино и вино было нашими подлинными увлечениями. Мы облазили все кинотеатры города в поисках чего-нибудь интересного, чего ещё не видели. Посещали на филфаке факультатив по истории кино, который читал Н. Ефимов, киновед, ветеран войны. Мы приходили на его лекции первыми и садились на первый ряд, чтобы лучше его видеть и слышать, и он, конечно, замечал своих фанатов, ему это было приятно. Нам тоже, но этот факультатив был один год.

Влияние моих друзей на меня было не во всём благотворно. Перед поступлением в университет я работал над собой во многом под влиянием книги Махатмы Ганди «Моя жизнь». Эта книга оказала на меня огромное мировоззренческое влияние. Но помимо общего мировоззрения, я старался работать над своим поведением – быть честным, не материться, не пить вина и т. д. И действительно, в университет я поступил непьющим и нематерящимся, но мои новые друзья начали меня потихоньку возвращать к реальной жизни. Я уже писал, что жил почти исключительно на стипендию, а они были людьми вполне обеспеченными. Колю снабжали мама и папа, а Витю Новикова содержала мама, которая была председателем какого-то зажиточного колхоза или совхоза в Воронежской области. И когда они приглашали меня в какую-нибудь столовую, то говорили, что если буду пить с ними, то они возьмут мне и обед. Желание хорошо пообедать брало верх, но начинали мы с портвейна. Редко, но случалось мне и напиться, но всё же разум одерживал верх и я воздерживался от чрезмерных возлияний. Постепенно я снова расширил свой словарный ресурс и, хотя и сдержанно, стал пользоваться всем спектром русской речи. Что до честности, то запомнился такой случай: мимо нас прошла женщина, обронила двадцать копеек, и, пока монета катилась по асфальту, женщина свернула за угол. Я поднял эту монету и побежал догонять женщину, чтобы отдать. Друзья долго надо мной смеялись, и я решил, что такая честность, пожалуй, и впрямь смешна.

Я уже говорил, что друзья частенько угощали меня. Но однажды, может быть, у них не было денег, а выпить хотелось, они предложили мне, чтобы я повёл их в ресторан на том основании, что они столько раз поили и кормили меня. «У тебя хорошее пальто, – сказали они, – заложи в ломбард, осенью выкупишь. А сейчас уже тепло!»

Я заложил пальто, получил десять рублей, и мы пошли в ресторан. Но осенью я пальто не выкупил и не знаю, в чём бы ходил, если бы не вырубил Витя Князев – он дал мне поносить своё осеннее пальто, в котором я проходил всю зиму.

Весь первый курс мы жили своей дружной компанией, и как-то не случалось разбавить её женским началом. Между тем в нашем общежитии жила юная армянка восемнадцати лет,

детдомовка, училась она, кажется, на историческом факультете. У неё были чудные глаза и неотразимая улыбка. И этой улыбкой она каждый раз при встрече одаривала меня. Я тоже улыбался в ответ, но опыта завоевания женских сердец мне не хватало, и я не знал, как к ней подступиться. Помог случай. Несколько дней она не появлялась в учебной комнате и не попадалась мне на глаза. Я спросил девочек, живших с ней в одной комнате, почему её не видно. Они сказали, что она больна и лежит в постели, в своей комнате. Тогда я в институте Отто нарвал целую охапку цветущих каштанов и принёс ей. Этого оказалось достаточно, и мы открылись друг другу. Всё закрутилось и завертелось, я просто шалел от неё. «Ах, Кречетов, – говорила она. – Легко же ты попал в мои сети!» А я и действительно попал в сети и радовался этому, потому что мечтал о таких сетях.

Конец мая и начало июня я был, как в бреду. Мы ходили по городу, взявшись за руки и беспричинно улыбаясь. Особенно запомнилась одна ночь, которую мы провели в саду между кинотеатром «Великан» и Музеем артиллерии. Она была полубожажённой и сияла в ночной зелени, как Ева в райском саду. Я был весь как натянутая струна, она тоже и готова была на всё, кроме одного... Она хотела сохранить девственность для мужа, и общими усилиями, в том числе и моей паталогической честностью, мы её сохранили. Когда утром мы вылезли из кустов, пошёл сильный дождь, почти ливень, но тёплый. Мы вымокли до нитки и шли Александровским садом, взявшись за руки и не обходя луж.

Она любила стихи Геворга Эмина и подарила мне томик его стихов в русском переводе, и долгое время он сопровождал меня. Не знаю, любили ли мы друг друга, но это было какое-то сумасшествие чувств, однако разговора о том, чтобы пожениться, у нас не было. Я не проявлял инициативы, и она ничего об этом не говорила, возможно, вполне понимая, что я ещё не готов к этому. Летом мы разъехались на каникулы, а осенью я узнал, что она вышла замуж. Несколько позже я написал об этом рассказ «Тополя», где назвал её Выеславой и так сжился с этим именем, что настоящее совершенно забыл. Так и живёт она у меня в памяти как Выеслава.

Сдав весеннюю сессию, мы с Витей Новиковым и Колей Типсиным поехали работать вожатыми в пионерский лагерь «Северная зорька», в Рошино. Там в клубе стояло фортепиано, и я впервые слышал, как Типсин играет. В лагерьной библиотеке он нашёл какой-то дореволюционный фолиант с нотами Вагнера, что именно, теперь, конечно, не помню. О степени моего невежества свидетельствует то, что я просил Типсина сыграть, а он объяснял мне, что нужна специальная партитура.

Осталось какое-то светлое ощущение самого времени, в котором мы тогда жили. На память от него у меня сохранилась небольшая фотография, запечатлевшая нас вместе с другими вожатыми в белых рубашках с красными галстуками поющими пионерские песни. Впрочем, это могли быть какие-нибудь пионерские речёвки. Эта любительская фотка 4 × 5 см да ещё пара фотографий, запечатлевших какой-то спортивный праздник на лагерьной купальне, – вот и все материальные знаки того, что было весёлым и молодым, когда у нас ещё вся жизнь была впереди. Но осталось в памяти и кое-что нематериального порядка.

Когда мы ехали в лагерь, я испытывал некоторое волнение. Дело в том, что сам я в пионерском лагере никогда не был и имел о нём представление лишь из рассказов моего деревенского соседа Витьки Головачёва, сына нашей школьной учительницы, который в лагерь ездил. Нам же, детям обычных колхозников, путёвок в лагерь не предоставляли, может быть, потому, что мы и так жили на свежем воздухе. Возможно, если бы мы хлопотали о путёвке, то и нам бы дали. Но я в любом случае поехать не смог бы, потому что за путёвку надо было платить деньги, а мать в колхозе денег не получала. Так лагерь и остался для меня чем-то книжным и недостижимым.

Работать мы должны были со второй смены, так что, когда мы приехали в лагерь, он вовсю работал. Мы подошли к лагерьному забору со стороны Рошинки, с обрывистого берега. Мы поднимались в гору, и я видел, что там, вверху, за забором в беседке сидят вполне взрослые

пионер с пионеркой, и в глубине души я испытал к ним настоящую зависть, обусловленную ещё и тем, что я заканчивал не дневную школу, а вечернюю и, конечно, детство моё закончилось года на три-четыре раньше, и я, как говорится, не доиграл. В беседке были старшеклассники моложе меня лет на пять-шесть. В том году некоторые пионеры были с 1947 года рождения, а я родился в 1942-м, Витя Новиков в 1945-м, он был почти ровесник им.

Мне исполнилось двадцать два года. Я был полон сил и не знал, куда их тратить. По лагерю я не ходил, а исключительно бегал, и мог мгновенно оказаться там, где меня и не ждали. Свою первую смену я работал на среднем отряде, возраст которого был двенадцать или тринадцать лет. Отношения с пионерами у меня были очень хорошими, особенно с пионерками, они хотя и были лет на десять меня моложе, но, в сущности, не чувствовали между нами большой разницы. Прошло с тех пор полвека, а я до сих пор помню имена некоторых из них – Светы Сухановой, Тани Грачёвой, Сергея Печёркина, Бори Александрова, Ляцкой Лии. Ляцкая Лия была очаровательная евреечка, с восточной улыбкой, иногда она кокетничала и заигрывала со мной, и я невольно подпадал под очарование её весёлых, лукавых глаз. С ней у меня связано особое воспоминание.

Однажды наш отряд был в походе на Нахимовском озере. «Поход» – это понятие, конечно, условное. На самом деле нам выдали продукты на два или три дня, погрузили в крытый грузовик и повезли на лагерную турбазу на Нахимовском озере. И пока мы ехали, то горланили песни, больше всего песню из «Человека-амфибии»:

Эй, моряк, ты слишком долго плавал.
Я тебя успела позабыть!
Мне теперь морской по нраву дьявол –
Его хочу любить!

На базе нас разместили по деревянным бытовым домикам, где ночевать было вполне удобно, а день мы проводили просто на берегу, занимались кто чем может. На другой день по приезду рано утром медсестра, я, Сергей Печёркин, Ляцкая Лия и ещё две девочки взяли лодку и вышли на озеро. Сначала встретили восход – наблюдали, как из-за леса выкатился огромный красный шар и, по мере того как он понимался в небо становилось всё жарче и жарче.

Медсестра была ещё из тех, что прошли войну, ей было лет сорок, не более. Она сидела на носу лодки, я был на вёслах, ребята сидели на корме и на скамейке позади меня. Медсестра грустила и всё тихонечко напевала фронтовую:

Закури, дорогой, закури.
Может, завтра с восходом зари...

Я грёб и любовался сидящей передо мной Лией с тоненькой полоской лифчика, под которым ещё нечего было скрывать, и маленьким треугольничком, завязанным сбоку тесёмочками по моде того времени.

Мы пристали к противоположному берегу и очутились на обширном лугу, гуляя по которому, нашли пачку вафель, чему я очень удивился. Пробовать её я отказался, было что-то неприятное в том, что она валялась в траве, с моей стороны это была, конечно, спесь. Медсестра же, пройдя суровую школу войны, отнеслась к этому по-другому. Когда мы немного углубились в берег, я, к огромному своему удивлению, обнаружил, что мы причалили в том месте, где в сентябре прошлого года жили, когда копали картошку. Я испытал какие-то странные чувства, не лишённые некоторого ностальгического настроения. Замкнулся год – в сентябре здесь началось моё университетское образование, а в июле я здесь оказался по завершении первого курса.

Между тем на озере стал подниматься ветер, мы поспешили обратно, волна росла, и, когда мы были примерно на середине, я не на шутку испугался, хотя и не показывал виду. Сам же думал, не лучше ли вернуться, но возвращаться было поздно. В глубине души шевелилась подленькая мысль, кого буду спасать, если перевернёмся или с лодкой что случится, лодка была старая. Сам я был полон сил, плавал в Амуре на течении и был уверен, что выплыву и даже не один. Скорее всего, это была пустая самоуверенность. Словом, если я и не поседел тогда, то, наверное, благодаря юношеской глупости.

Когда мы подплыли к берегу, нас давно ждали, и первым встретил сторож базы. Он, видимо, колол дрова и подбежал ко мне с жутким видом, с руганью и топором в руках. «Ах, ты, гнусное насекомое!» – воскликнул я и принял боевую стойку. Не знаю, почему из меня вылетели именно эти слова?! Сторож был прав по всем статьям – народу в лодке было больше, чем следовало, лодка была старая и могла развалиться, да и вернулись мы из этого путешествия уже после обеда. И я осознал его правоту, но радовался, что мы все целы, и это чувство перекрывало все другие.

Эту безобразную сцену наблюдали многие ребята, и поначалу кто-то даже удивился необычности нашего объяснения. Но скоро моя фраза стала предметом оживлённого обсуждения: «Как вы могли – ведь он уже старенький?!» – пеняли мне некоторые. Отряд разделился на два лагеря: одни явно осуждали мой поступок, другие, может быть, тоже осуждали, но не отвернулись от меня, продолжали общаться по-прежнему.

Запомнилась картина: мы лежим на поляне среди сосен, в верхушках гуляет ветер, а я сочиняю какую-то сказку, где есть любовь, волшебное кольцо, замок и прочие атрибуты ложно романтических историй. И ещё запомнилось, как мы ходили по колено в воде по песчаному дну. Вода была чистой и прозрачной, и мы ловили под камнями раков.

Когда вернулись из похода, то весь лагерь узнал о произошедшем, и на следующий день в лагере можно было услышать ругательство: «Ну, ты, гнусное насекомое!..». Разумеется, я сожалел о случившемся, в том числе и о том, что обидел пожилого человека такими гнусными словами. Он был во всём прав, а я был во всём не прав.

Запомнилась отрядная поездка в Репино. С нами была та же медсестра, которую передёрнуло, когда мы у входа в усадьбу «Пенаты» столкнулись с группой туристов из Германии (не знаю – западной или восточной). Мы заходили в калитку, отряд растянулся, а немцы ждали нас и в раздражении говорили ребятам: «Weg! Weg!», то есть «Прочь! Прочь!». Проходите, мол, быстрее! Медсестру просто трясло от этого.

Из «Пенатов» мы пошли на залив, расположились на пляже и провели там остаток дня. День был жаркий. Солнце было уже за полдень и висело над заливом, образуя огромную ослепительно сияющую полосу. И мне захотелось пойти в море по этой полосе, и я пошёл, понимая, что Лия смотрит на меня и не только она одна. И я знал, что со стороны берега это выглядит красиво, мой силуэт вписывается в этот слепящий столб света и, наверное, сливается с ним. И в этот момент у меня родился замысел романтического рассказа «Далёкий берег». В какой-то стране на берегу моря стоит рыбацкий посёлок. В нём есть такой обычай – если рыбак не вернулся из моря, то жена уходит к нему в море, оставляя детей на общее попечение. И её вот так, как меня сейчас, провожает на берегу всё селение.

Осенью я взял несколько миниатюр и этот рассказ и пошёл с ними в журнал «Нева». Там был литературный консультант Дмитрий Остров. Он всё это прочитал и сказал: «Писать вы умеете. Миниатюры мы могли бы напечатать, если бы их было десятка два. А рассказ – это просто жестокий романс...». Тем не менее он рекомендовал меня в лито при журнале «Нева», где он вёл прозу, а Всеволод Александрович Рождественский – поэзию. И впоследствии я посетил несколько занятий литобъединения.

Рассказ этот я написал под сильным влиянием Александра Грина, которым зачитывался весной на первом курсе. Так вопрос «Нужна ли художественная литература?», который я зада-

вал год назад аспиранту Вершинину, отпал сам собой, и я снова начал понемногу что-то сочинять. Тем летом я очень сильно ощущал очарование самой жизни, и мне снова захотелось всё это запечатлеть и передать через книгу. Да, я хотел передать всё, что пережил этим летом, что распирало меня. Но, к сожалению, многое на бумагу не легло. Не легло купание с отрядом в Рошинке, походы на дальнюю поляну к линии Маннергейма, где мы тренировались делать стойку на руках, и Наташка Богданова совсем из другого отряда: «Мы ведь можем с тобой поцеловаться?» – запрыгнув на меня и обхватив руками и ногами. «Конечно, можем!» И эта же Наташка через четыре года, в Грузине, в другом лагере, пацану, который показал ей руку по локоть: «Сначала отрасти – потом показывай!». И ещё – незримое присутствие во всём Леонида Андреева, от рассказа «Бездна» до рассказа «Он»...

В третью смену меня перевели на один из младших отрядов, и одной из причин этого, думаю, было походное приключение, внесшее разлад в мои отношения с отрядом. В новом отряде были ребята лет десяти-одиннадцати. Мы ходили с ними на черничник, собирали ягоды, были какие-то игры, отрядные вечера. Второй вожатой в моём отряде была студентка русского отделения филфака Вета Гуляева, девушка из Вятки, полное имя Елизавета. У нас с ней установились отношения взаимного интереса, но больше, кажется, с её стороны. Она была высокая, стройная, породистая во всех отношениях. Но лицо у неё было простоватым, и меня, начитавшегося уже всякого декадентского тумана, это отчасти смущало. Со временем возраст и интеллектуальные занятия облагородили черты её лица, и когда лет через тридцать или сорок я случайно повстречал её в метро, то почти не узнал – настолько разительно она облагородилась. Не без тоски смотрел я на неё, понимая, что, может быть, упустил в жизни что-то такое, чего и не подозреваю.

Как-то мы были в лесу, на привале, была Вета, Витя Новиков, ещё кто-то и дети из двух младших отрядов. И мне запомнилось, как Витя Новиков стал играть с Леной Саприковой, щекоча её, а она по-детски тянет: «Елизавета Петровна, скажите ему, чтобы он перестал заниматься этими гнусными вещами!». И это было очень смешно.

К Леночке у меня было нежное чувство, думаю, и у неё ко мне тоже. Когда мы в августе стояли в Рошине, ожидая поезд, у нас были слёзы на глазах. Она теребила молнию на моей куртке и не знала, что сказать, и я тоже не знал, а если и знал, то не мог, потому что не должен был говорить. Впрочем, расставаясь, плакали многие и дети, и вожатые. Полвека я вспоминаю эту сцену расставания, и полвека она терзает мне сердце. Несколько лет назад я написал об этом стихотворение.

Теребила куртку нервно.
В голосе звенела дрожь...
Детским пальчиком манерным
Ты мне сердце не тревожь!..

Ведь без малого полвека
Пролетело с той поры.
Я зову, но нет ответа
У последней у черты.

Образ ясный... Голос ломкий
Над черничником звенит.
С корабельных сосен звонких
Устремляется в зенит.

В переключке торопливой

Детских сладких голосов
Пробежала жизнь счастливой
Разноцветной полосой.

Впрочем, в том же году я случайно её встретил бегущей в школу. Окликнул её, она отозвалась и побежала дальше. Больше я о ней никогда не слышал, но в памяти она живёт до сих пор.

По приезде в город я купил в киоске журнал «Иностранная литература», № 8 (за август). В нём был опубликован обширный отчёт о Европейском совещании писателей, проходившем в Ленинграде, а также статья Е. Головина о «конкретной» поэзии, о которой я до тех пор не имел понятия. Этот номер я буквально проглотил и с тех пор этот журнал всегда сопровождал меня. Но если сначала я читал выступления писателей на форуме, то со временем у меня остался лишь зрительный образ – картинка на обложке, образ, с которым у меня связывается лето 1964 года.

Были и какие-то другие мгновения. Мы находились в клубе, только что прошёл хороший дождь, и какая-то девочка, старшеклассница, вытянув вперёд руку, ловит в ладонь струю капель с крыши. Я кладу свою ладонь сверху и перехватываю струю, она перехватывает струю у меня, а я опять у неё. И мы радостно смотрим друг на друга и смеёмся, но в этот момент подошла молодая повариха и отозвала меня. Вот и всё. Несколько последующих встреч с этой поварихой ничего мне не дали, а с той девушкой я потерял что-то важное, может быть, всё.

В «Северной зорьке» был у нас и весьма неприятный эпизод. Жили мы втроём в одной комнате. Однажды мы зачем-то повесили над одной из кроватей плакат с каким-то девизом, а по сторонам плаката, слева и справа, нарисовали знаки свастики. Лагерное начальство во время обхода плакат увидело и призвало нас к ответу. Состоялся педсовет, где мы оправдывались, что к фашизму это отношения не имеет, что это солнечный знак в древнеиндийской мифологии и т. д. Директриса лагеря Зоя Вениаминовна, женщина добрая и доброжелательная, хорошо к нам относившаяся, в ответ на мои объяснения сказала: «Знаешь. Витя, я университетов не кончала!..». – «Этим не обязательно гордиться!» – бросил я в ответ... Тем не менее нам дали доработать смену и даже не написали на факультет бумагу, понимая, что могут сломать нам жизнь. При этом, конечно, и «насекомого» мне припомнили. Мне вообще в жизни везло на хороших людей, и я много раз убеждался, что хороших людей в жизни гораздо больше, чем плохих. Но и не без них, конечно. Всё-таки к молодым иногда следует быть снисходительными, если это не угрожает жизни окружающих. Глупость надо прощать.

На втором курсе нас поселили в общежитии в Старом Петергофе. Мы жили вчетвером в комнате – Витя Новиков, Борис Макаров, Борис Кеникштейн и я. Иногда мы набирали в университетской библиотеке по десятку книг и залегали на неделю в комнате, читая книги и обмениваясь ими по прочтении друг с другом, выходя из комнаты лишь до буфета. Это было очень плодотворное в смысле образования время. В эту комнату к нам частенько заходил Янис Рокпелнис, ныне выдающийся латышский поэт. Он писал стихи на русском языке и посылал их в столичные журналы. Как-то он показал мне письмо Людмилы Татьяничевой из журнала «Юность». Отзыв был отрицательным, стихи в журнал не приняли. «Что она понимает в поэзии?!» – возмутился Янис. «Всё! – обречённо сказал он однажды. – Буду писать на латышском!» Людмила Татьяничева в советской поэзии занимает, конечно, своё место, но в стихах Рокпелниса она действительно ничего не смыслила. Дальнейшая судьба Рокпелниса лишь подтвердила это. Янис родился в семье известного в Латвии поэта, автора гимна Латышской республики и лауреата Сталинской премии Фрициса Рокпелниса, но мать у него была русская, поэтому он был двуязычен и владел равно русским и латышским. Может быть, он принял тогда правильное решение – на русском языке он, скорее всего, был бы если и хорошим, то одним

из многих. На латышском у себя он сегодня один из немногих, один из самых крупных поэтов Латвии в двадцатом веке.

Осенью передо мной нарисовалась перспектива призыва в армию. Эта проблема была уже на первом курсе, когда меня хотели взять из университета в военное училище. Идти в военное училище я категорически не хотел и объявил себя пацифистом, ссылаясь на увлечение Махатмой Ганди. Пацифистские настроения мне были действительно присущи, и, к тому же, чем больше я читал писателей конца – начала века (XIX–XX), тем менее ощущал себя готовым к службе в армии. Я уже говорил, что на первом курсе был дружен со Славой Соломоновым, который лечился в психиатричке от белой горячки. Он подсказал мне, что в психиатрии всё неопределённо и трудно понять, действительно ли у тебя есть отклонения или же нет. Он дал мне первые советы, после чего я пошёл в публичную библиотеку, чтобы изучить предмет. Невроза навязчивых состояний было вполне достаточно, чтобы меня освободили, но нужно было вести себя так, чтобы мне поверили. Пока шли всякие комиссии, время призыва, очевидно, закончилось, и я благополучно закончил курс. Сама по себе служба в армии меня не пугала, я прошёл хорошую подготовку в строительном училище № 42 в Челябинске, где я прекрасно ладил с друзьями, врагов не боялся, и был за это уважаем и любим, участвовал в первых рядах в коллективных драках училище на училище и т. д. Но я почему-то совсем не был уверен, что после армии вновь окажусь в университете.

Теперь, на втором курсе, надо мной снова нависла служба. Конечно, есть здесь моральный аспект – не желая идти в армию, я вроде бы противопоставляю себя обществу, государству. И до некоторой степени я этот момент переживал. Но в сентябре на втором курсе я ездил в Челябинск, к матери. И говорил с ней обо всём этом – её мнение для меня было важно, более того, в сущности, только её отношение и имело для меня значение. Мать отнеслась по-простому: «А где они были, когда вас кормить надо было? Ни одной копейки за отца от государства не получила. Всё только: «Давай! Давай!». А теперь вырос – так нашли!». В её словах была застарелая обида на государство, отказавшееся от какого бы то ни было участия, чтобы поставить детей на ноги. И каково было бабе одной растить троих детей, а между тем масло от коровы в государство сдавала, яйца от кур сдавала, шерсть от овец сдавала – и не дай Бог не вовремя! До сих пор помню, как я держусь за её юбку и канючу: «Мам, есть хочу!» – «Что тебе дам?! Глисту на листу?!» Это не оттого, что мама была грубой, а от отчаяния, когда голодному ребёнку дать нечего. А теперь нашли. От двух больших семей – отцовской и материнской – ничего не осталось, только вдова с голодными детьми. Трудно в таком положении рассуждать о патриотизме. Да и что о нём рассуждать?! Пришла война, и в нашей деревне от девяноста дворов все ушли на фронт, по три-четыре мужика от семьи, а вернулось лишь четверо на всю деревню. Но это военное время. А сейчас я решил, что для человечества будет больше пользы от меня, если я буду учиться. Нет, пожалуй, больших моральных угрызений я не испытывал. А вот некоторый азарт был. Я хотел доказать самому себе, что меня голыми руками не возьмёшь. Но если врачи не всегда могли понять, где правда, а где игра, то и я не всегда понимал, верят ли они мне или лишь притворяются, что верят.

В Петродворце, в поликлинике, была врач-психиатр Быкова Ольга Владимировна. Очень образованная женщина, пережившая блокаду. Она рассказывала, как они топили печь книгами из своей старой, ещё дореволюционной библиотеки. Она расспрашивала меня, что я читаю, а я в то время увлекался Оскаром Уайльдом, которого прочитал всё, что есть на русском, Эдгаром По и Морисом Метерлинком. Круг чтения вполне подходящий для пациента. Однажды мне приснился сон, будто мой член подпоясывает меня вместо ремня и, обернувшись вокруг меня раза два или три, начинает душить меня, как удав. Я рассказал Ольге Владимировне этот сон и расположил её к себе. Она предложила дать мне направление в «Бехтеревку», я посчитал это уж слишком. На что она деликатно сказала, что бояться мне нечего – как только я захочу уйти оттуда, меня выпишут. И действительно, пробыв там три дня, я выписался. И с тех пор мне

стало легче разговаривать с медицинской комиссией. Лежал в «Бехтеревке» – это как пароль. Помню, однажды собрался целый консилиум профессоров, рассматривали меня как сложный случай... Так или иначе, но в конечном счёте я получил запись в военный билет: «признан негодным в мирное время и годным к нестроевой службе в военное время».

Но, может быть, мои опасения, что я не вернусь почему-либо в университет, были напрасны. Приятель мой Василий Стрельченко, с кем мы вместе поступали, отслужил и вернулся, закончил двумя годами позже меня и в дальнейшем сделал вполне приличную карьеру – защитил докторскую, стал профессором, зав. кафедрой. Но у каждого человека своя судьба, и, может быть, я поступил правильно в отношении самого себя. Много раз в жизни я убеждался, что какая-то сила оберегает меня, надо только следовать ей и не идти вопреки своему чувству.

Ездить из Петергофа на занятия каждый день, конечно, довольно утомительно. А выходили из общежития всегда в последнюю минуту и неслись на электричку как угорелые. Обычно мы ездили без билета. Когда шли контролёры, то, завидев их, мы шли вперёд, а потом на какой-нибудь платформе выскакивали из вагона и бежали назад. Электрички в то время были с дверьми, открывавшимися вручную. Я нашёл хороший способ уходить от контролёров – открывал наружную дверь, выходил из вагона наружу и, взявшись руками за поручни, приседал, чтобы не было видно в стеклянную дверь. Как только они проходили, я возвращался в тамбур. Но однажды, выйдя из вагона и держась снаружи, я заметил, что поезд приближается к платформе, которая меня просто срежет. Я быстро поднялся на уровень платформы, и всё обошлось. Но понадобилась какая-то минута, чтобы сообразить и проделать всё это.

От Балтийского вокзала до университета был прямой автобус. Но всё-таки такая езда была сущим мучением даже для молодых. Но были и некоторые плюсы у этого адреса. Во-первых, езда в электричке каждый день давала новые впечатления, по электричкам ходили ещё инвалиды войны. Как-то мы с Витей Новиковым ехали из города, и в тамбуре стояла небольшая группа школьников, возвращавшихся с экскурсии. С одной из них мы познакомились, звали её Таня Берёзкина, и она стала героиней моего рассказа «Крик совы», вернее, не она сама, а её имя.

Ну и, конечно, мы облазили окрестности Петергофа. Запомнилось, как мы с географичкой Валея Гуртенко готовились к экзаменам на берегу залива. Был солнечный, но холодный день, мы прятались от ветра за какими-то старыми развалинами и в затишье читали старые томики со стихами Фёдора Сологуба. Такое не забывается. Я бродил по берегу залива, однажды на краю кладбища, почти на самом берегу, наткнулся на могилу писательницы Хвоцинской (псевдоним – В. Крестовский). Всё это как-то настраивало на мечтательный лад, на ощущение близости эпох. Но всё же мы были очень рады, когда на третьем курсе переехали в студгородок на Новоизмайловском проспекте.

После второго курса я снова поехал в пионерский лагерь, но теперь уже один, без друзей. Это было лето 1965 года, пионерлагерь «Юность» на семнадцатом километре Средне-Выборгского шоссе. «Северная зорька» была от Академии наук, а «Юность» – от Василеостровского райпищеторга. Руководил лагерем Роберт Петрович Заштовт, ветеран войны, потерявший на фронте одну часть своего мужского достоинства, но от этого его достоинства не уменьшилось, а скорее прибавилось. Ему было пятьдесят пять, с ним был его фронтовой товарищ, который, как говорили, вытащил его, раненого, с поля боя. Роберт Петрович был сердцеед и донжуан. Его обаяние было безотказным настолько, что перо моё вынуждено умолкнуть.

Почему я поехал снова в пионерский лагерь, а не на стройку со студенческим отрядом? Трудно ответить однозначно. Очевидно, в душе была потребность в более нежном обществе, нежели то, какое можно было найти на стройках века. Теперь, когда я пишу эти строки, я не жалею, что все университетские каникулы и даже после университета я провёл ещё три лета в пионерских лагерях. Не жалею потому, что у меня выстроился внутренний мир, полный весёлых детских голосов, хотя и не только детских, мир – полный солнца, воды, ветра, травы,

цветов, бабочек... Мир бабочек и цветов. Как часто я оказываюсь во сне среди каких-нибудь тихих сияющих озёрных вод, выплывая где-нибудь из камышей на открытую воду или ожидая, что вот-вот за мысом откроется огромный светлый водный простор, и в такие минуты сияет душа, замирает в каком-то сладком предощущении. Разумеется, я тогда ещё не мог знать всего этого, просто поехал ещё раз и постепенно втянулся.

Первую смену я был на пятом отряде с детьми одиннадцати-двенадцати лет. Это был июнь – месяц ландышей, которые я очень люблю, а в то время я относился к ним даже несколько экзальтированно, к ним да ещё к вереску. В детстве я вереска не знал, а здесь, на севере, полюбил его. Ещё раньше я прочитал легенду про вино из вереска, и это как-то романтизировало его. Когда Леночка Канис заболела свинкой и попала в изолятор, я нарвал ландышей и принёс ей букет. В то время ландыши ещё так не оберегали. Да и много тогда их было в лесу. Я любил эту девочку, и когда после первой смены меня переводили в более старший отряд, она плакала: «Витя, я хочу быть с тобой!». Я тоже хотел, но обстоятельства были выше нас. Прошло много лет, но я как сейчас вижу пляж на Гладышевском озере и её в чёрном купальнике, я лежу на песке, а она тянет меня за руку купаться. Я притворно сопротивляюсь, сам же люблюсь ею, всеми её очертаниями, голосом и синими-синими глазами, так мне кажется сегодня. А может быть, они были серыми?! Всё-таки полвека прошло. И вот какая избирательная память – в отряде был её брат, так я его совсем не запомнил, просто не глядел на него, брат и брат.

В этом отряде была ещё девочка Лена Андреева, она любила, чтобы вечером, после отбоя, я, накинув на себя простыню, подходил к ней со словами: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?!». Это приводило её в восторг. Почему-то запомнилось, что она живёт на Загородном проспекте и я теперь иногда, идя по Загородному, невольно вспоминаю её.

А с Леночкой Канис я последний раз встретился случайно около её дома, поблизости от Новоизмайловского проспекта. Мы с Валея Гуртенко возвращались из поездки по республикам Прибалтики, шли мимо её дома, и я, увидев её, окликнул. Она подошла, поздоровались. Я объяснил, что мы возвращаемся из поездки, идём к себе в общежитие, но говорить больше было не о чем. С тех пор я её никогда не видел, но в сердце мне она вошла. Было время, когда я даже хотел взять себе псевдоним Канис.

В этом лагере были две студентки из университета, одна с восточного – Ирина, другая с филфака. Имя её забылось. Но с ней у нас быстро установились отношения взаимного интереса. Она была капризная, избалованная, приехала только на первую смену. Мы гуляли с ней по лесной дороге вдоль берега озера, между высокими соснами. Она делилась своими представлениями о будущей жизни. Она мечтала жить за городом, а на работу ездить на машине. У меня ни загородного дома, ни машины не было, и мне её мечтания показались мещанскими. Сам я не мог сказать, какое будущее я вижу, видел что-то светлое и романтическое, что-то вроде того, о чём поётся в песне:

У моря, у синего моря
Со мною ты рядом, со мною.
И солнце светит, и для нас с тобой
Целый день поёт прибой...

Хотя, если вдуматься, это ведь то же самое, что «жили-были старик и старуха у самого синего моря...». А этого я, пожалуй, не хотел бы.

Словом, после этих признаний наши отношения пошли на убыль и благополучно сошли на нет. Ирина же с восточного была просто не в моём вкусе.

В этом лагере я провёл два лета, и оба лета слились теперь в одно, и, вспоминая что-либо, я не всегда могу точно сказать, когда это было.

Одним из самых ярких впечатлений было знакомство с журналистом из Новосибирска Каремом Рашем. Мы жили с ним вдвоём в комнате, он работал воспитателем на первом отряде. И это был настоящий лидер, вожак, и дисциплина у него в отряде была что надо. Он был спортсмен, мастер по фехтованию, и давал мне первые уроки на холодном оружии. Он великолепно играл в волейбол, на подачах делал жуткие «свечи» с возгласом: «Карамба!». Его так и звали – Карамба. Когда он играл в волейбол, на весь лагерь было слышно «Карамба!!!» и народ стекался к волейбольной площадке посмотреть на него.

Он великолепно нырял с вышки, делая ласточку. Однажды я попросил его научить меня нырять ласточкой. Он объяснил, как нужно сгруппироваться и выгнуть спину. Когда я нырнул согласно его инструкции, то в позвоночнике, внизу, словно порвалось что-то, и появилась сильная боль. Нырять я больше не захотел, а позвоночник долго болел, и сначала я не мог долго работать внаклонку. Но с годами это ушло, хотя память об этом сохранилась.

Раш закончил факультет журналистики ЛГУ, а до этого учился на восточном факультете у Орбели. Зимой он работал в Академгородке, в Новосибирске. У него с собой был журнал «Знание – сила» с его статьёй об академике Окладникове. Журнал был всесоюзный, и статья в таком журнале – для меня это было недостижимо. В Академгородке он организовал подростковый клуб «Виктория» – клуб мушкетёров, позже он напишет об этом книгу «Приглашение к бою».

Сюда на лето он приехал вспомнить свою раннюю молодость, когда работал директором летнего детдомовского лагеря «Сильвупле». «Когда-нибудь, – говорил он мне, – я напишу об этом книгу». И написал. Получил за неё премию Ленинского комсомола. Книга называется «Лето на Карельском перешейке». Она постоянно со мной. Часто раскрываю её. Но когда мы с ним работали, этих книг ещё не было. Запомнился один эпизод, когда мы, не сговариваясь, разыграли вожатую, работавшую с ним на отряде.

Девушка была довольно невежественная, но делала вид, будто она всё знает. Однажды случайно заговорили о Гаршине, и она сказала, что читала его. Мало того, заявила, что у неё дома есть собрание его сочинений.

– В восьми томах? – спросил кто-то из нас.

– Да, в восьми, – отвечает.

– Синенький?

– Синенький.

– Ну, вы – богачка! – сказал Карем. – Во всём мире ни у кого нет, а у вас есть!

Она в недоумении смотрела на нас. Пришлось разоблачить её. Но она не сильно смутилась. Наверное, мы поступили нехорошо, но это вышло непреднамеренно.

С Каремом связан ещё такой случай. Когда закончилась третья смена, мы ещё оставались в лагере – кто на один день, а кто на два-три дня. Мы, несколько человек вожатых и воспитателей, решили купить вина и вечером сделать отвальную. Пошли за вином в Поляны, это километрах в трёх от лагеря. Проходили мимо Голубых озёр, мимо первого из семи. Решили искупаться обнажёнными, слегка разбредаясь по берегу. Я разделся, вхожу в воду, в воде передо мной – вжик! вжик! Я назад, говорю: «Похоже, что кто-то стреляет!». Купаться мы не стали, оделись и пошли в магазин, а Карем остался, он решил подняться на сопку, откуда могли стрелять. Потом он нам рассказал. Он подкрался, и в то же время там оказался ещё кто-то. Они увидели, что пьяный мужик стреляет из малокалиберной винтовки по фигуркам на озере. Побили его, а вот куда дели мелкашку, не помню, отдали или отобрали. Так что у нас и в мирное время, как на войне.

Со временем Карем Раш, курд по национальности, стал известным писателем-публицистом, русским патриотом. О своей родословной он пишет в книге «На Карельском перешейке». Есть даже такое понятие – «рашизм». Злые силы обозначают им воинственный и неподкупный патриотизм, проповедуемый и исповедуемый Каремом Рашем.

В «Юности» я познакомился с братьями Владимиром и Александром Ягодкиными. С Сашей Ягодкиным мы подружились и многие годы шли рядом. Он был 1945 года рождения, а Володя был старше него на два года. Это были спортивные парни, родились и выросли они в Ленинграде, в благополучной семье – отец, Василий Васильевич, был начальником цеха на Кировском заводе, мать – главным бухгалтером там же. Жили они на улице Союза связи (то есть на Почтамтской), в центре города. Владимир женился на белоруске, прописал её к себе, пошли дети. Володя ездил на заработки на Шпицберген. Прожил недолго, в возрасте сорока пяти лет умер от рака лёгких, был заядлый курильщик. Саша, младший брат, женился на школьной подруге Вале Лешко и переехал с ней на улицу Замшина, где она получила однокомнатную квартиру. О них я скажу отдельно.

Ребята были компанейские, играли на гитаре, любили выпить и вообще любили всё хорошее. Иногда, уложив пионеров спать, мы отправлялись большой компанией гулять вдоль шоссе. Костры были, песни и тихие посиделки тоже. Запомнился вечер, когда Сашка Ягодкин, ещё кто-то, я и Сашкин приятель, кажется, Гришка – девятнадцати лет, высокий красавец, гитарист с хорошим голосом – все мы были в комнате. Выпивали слегка. И этот парень пел под гитару «С одесского кичмана бежали три уркана...». А через неделю мы узнали, что он разбился на мотоцикле, ночью ехал на озеро Красавица. На повороте не вписался и врезался в бетонный столб, который срезал ему полголовы. Его мать работала в лагерной столовой, он был у неё единственный сын. Она была не старая, но вряд ли могла родить ещё. На ней лица не было. Она как-то тяготела к друзьям сына, всё разговаривала с ними, видимо, хоть через них стараясь как-то приблизиться к сыну. Я его видел один раз, в тот вечер, но его судьба прочеркнула и по моему сердцу.

В этом лагере я сменил несколько отрядов, не знаю сейчас почему. Конфликтов у меня не было, дистанцию в отношениях с пионерами я всегда соблюдал, с директором отношения у меня были хорошие. Передвижения эти касались не только меня, да и думать об этом теперь уже ни к чему. Но в этих перемещениях было что-то и положительное – новые отношения, другие люди – характеры.

Запомнился мне мальчик-татарчонок. Он обожал ящериц, а ребята обижали его из-за них. Мальчик был диковатый, необщительный, часто убегал из отряда. Однажды, отыскав его где-то на футбольном поле, в кустах, я позвал: «Киль манда!». Услышав родную речь, он подошёл ко мне, мы поговорили, приглушили обиду. А потом образ этого мальчика соединился с другим мальчиком, в Приморске, и получился рассказ «Дневник Вани Родичкина».

Дети меня любили. В этом отряде были две девочки, Лена Бережная, которая заигрывала передо мной, особенно перед отбоем, и Лиля Зубарева. Лиля была тихая, ясная, как ангел, со светлой душой, любила цветы, и мы всегда собирали их на поляне. Она, видимо, очень хорошо отзывалась обо мне родителям, и родители тоже ко мне хорошо относились. Папа был уже довольно немолодой, воевал и был ранен, мама была помоложе. В родительский день они приезжали с коньяком, с окрошкой, с гостинцами для дочери, и мы уходили с ними на поляну. Они приглашали меня к себе домой, договорились, что я приду на день рождения к Лиле, кажется, в марте или в апреле. Когда этот день пришёл, я, купив цветов, поехал поздравить её.

Дверь мне открыла бабушка и сказала, что Лиля ещё маленькая, чтобы ей цветы дарить. Я развернулся, цветы остались при мне. В сущности, она, конечно, была права, но и я бы не рискнул идти поздравлять ребёнка, если бы не настоятельные приглашения родителей.

Запомнился славный парень Генка Шмыков. Иногда утром я не выходил в отряд и не бывал на завтраке, по договорённости с вожатой, конечно. Утром в комнату входит Генка Шмыков с полной тарелкой варёных яиц: «Виктор Николаевич, мы вам пошамать сгоношили!» – и ставит тарелку на тумбочку у изголовья. У него были какие-то проблемы с сердцем, так всякий раз, как вспоминаю о нём, думаю, дай Бог ему здоровья. Славный, весёлый был парень.

На этом отряде работала со мной вожатой Оля М. У нас с ней были простые и доверительные отношения. На самом деле они давно должны бы перерасти в близкие, но что-то мне мешало. Сейчас как-то глупо даже вспоминать об этом, но у нее на ноге второй палец был безобразно крупнее большого. Казалось бы, ну и что? Она рассказывала мне о своих ночных посещениях Роберта Петровича. Жил он в отдельном домике у выхода из лагеря в сторону Гладышевского озера. Жил уютно, любил выпить коньяку любил женщин и умел за ними ухаживать.

– Что ты в нём нашла? – спрашиваю. – А ранение не мешает?

– Ой, Витя, если бы ты знал, что это такое?!

Да я и не знал! Ей было всего двадцать два. Я думал тогда, что возраст играет роль. Мне казалось, я гораздо интереснее должен быть для неё. Но я был интересен только для того, чтобы поговорить о Роберте.

В то лето мы много ходили по чернику, по грибы. Я научился различать грибы. Сначала все пробовал на вкус. Однажды женщины взяли меня в лес в качестве проводника. В лесу я действительно неплохо ориентируюсь, но всякое бывает. Мы ушли далеко вдоль берега Гладышевского озера, нашли великолепные боровые места, где было полно белых. Я собирал грибы для женщин, мне они были не нужны, да я и не был большим любителем грибов. Эта охота придёт ко мне позже. И всё-таки мы заблудились. Сказался малый опыт хождения в лесу. Я ориентировался на ручей, который мы перешли. Решил, что обратно легко найдём дорогу: переходили ручей – он тёк слева направо, а обратно должно быть наоборот – справа налево. А оказалось, что ручей петлял, и мы несколько раз перешли его туда-сюда. Наконец я понял, что надо идти по течению, пока не дойдём до озера и там сориентируемся.

Но вернёмся в университет...

С третьего курса обучение стало специализированным. Я стал учиться на отделении этики и эстетики. Кафедрой этики и эстетики заведовал Владимир Георгиевич Иванов, читавший нам историю этических учений. Марксистско-ленинскую эстетику читал Моисей Самойлович Каган, написавший впоследствии воспоминания о кафедре; историю эстетических учений – Лариса Ивановна Новожилова. Эстетические учения XX века читал аспирант Прозерский. Его предмет мне особенно нравился. К сожалению, в то время было очень мало литературы по этому предмету, и этот провал в какой-то мере компенсировала антология Рейдера, называлась она «Современная книга по эстетике». И если я что-нибудь в этом предмете и знал, то большая часть этих знаний была почерпнута из этой антологии и лекций Прозерского.

Историю зарубежного искусства мы слушали на кафедре искусствознания на историческом факультете, не помню, как звали преподавательницу, читавшую нам курс, иллюстрируя его слайдами. Впрочем, в то время слайдами пользовались все. Зачёт по этому курсу я сдавал преподавательнице в Эрмитаже – провёл для неё экскурсию по залам импрессионизма. Импрессионистов я знал по Ревалду и Вентури, но, рассказывая о художниках, я немного стеснялся говорить общеизвестные истины. А что можно рассказать на зачёте?! К тому же я смотрел на моего экзаменатора как на женщину обаятельную, чуть старше меня. К сожалению, со сдачей зачёта я утратил с ней какую-либо связь, а ведь находился под её обаянием, когда слушал её. Большой энтузиазм вызывали у нас лекции по психологии творчества доцента театрального института Дранкова. Типсин, Новиков и я – мы неизменно посещали его лекции, сидели впереди, ловя каждое его слово.

Историю русского искусства преподавала Оксема Фёдоровна Петрова, кандидат искусствоведения, в то время заведующая отделом пропаганды Русского музея. Обаятельнейшая женщина, она покорила наши сердца рассказами о «мирискусниках», о художниках-эмигрантах Наталье Гончаровой и Михаиле Ларионове. Но более всего очаровывали её заморозительные рассказы о Серове, Коровине, Сомове, Петрове-Водкине и Павле Кузнецове, об А. Н. Бенуа и деятельности Дягилева. В то время литературы об этих художниках было немного, и мы с жадностью внимали всему, что сообщала нам Оксема Фёдоровна. Между собою мы любя

называли её просто Оксемой. Под действием её чар некоторые из её слушателей превратились из философов в искусствоведов. Я посвятил дипломную работу анализу художественных воззрений Александра Бенуа и даже не столько анализу, сколько реконструкции его системы. Этим можно было заниматься только при большой увлечённости темой. Если учесть, что на третьем курсе я писал курсовую работу по этике Николая Гартмана на основе немецкого оригинала, имевшегося в библиотеке Академии наук, то можно понять, какой поворот произошёл в моём сознании с приходом Оксемы Фёдоровны. Хотя моя дипломная работа не сыскала мне лавров на философском факультете, польза от неё мне была большая. Я получил доступ в архив Русского музея и познакомился со множеством подлинных документов и более всего с различными письмами. В газетном зале Публичной библиотеки я изучил газету «Речь», «Слово». Ну и, конечно, перелистал уйму журналов и художественных изданий начала века, которых достаточно в библиотеках Русского музея и Академии художеств.

Валентин Серов стал увлечением Яниса Рокпелниса, но, кажется, это его увлечение не встретило понимания на кафедре эстетики, и в результате он несколько задержался с защитой.

Оксема устроила нам образовательную поездку в Москву, где мы посетили Архангельское, Абрамцево, Третьяковскую галерею, а также съездили в Загорск (Сергиев Посад), где для нас провели специальную экскурсию. От этой поездки у меня осталась фотография, где мы стоим втроём – Рокпелнис, Казин и я. Фотографировал Борис Кеникштейн. Не помню, кто ещё был в нашей группе, наверное, Тина Краснова, Нина Ерёменко, Володя Смирнов...

Под руководством Оксемы проходили мы практику в Русском музее – до сих пор помню свою первую экскурсию. Позже я избавился от робости перед публикой, но первая экскурсия далась мне нелегко.

Помнится, Оксема Фёдоровна рассказывала об Ахматовой, жившей некоторое время в квартире её родителей. К слову сказать, Оксема сообщила нам о панихиде по Ахматовой в Никольском соборе. Но я в то время не ощущал в этом событии величия момента и на панихиде не был.

Случалось, Оксема приглашала нас к себе на кофе с коньяком. Как-то она подарила мне на день рождения «Письма Ван-Гога» – прекрасное издание, проданное мною в трудную минуту жизни. В душе этот подарок храню до сих пор и теперь, листая другой экземпляр этого издания, с теплом вспоминаю Оксему. Однажды мне пришлось даже занять у неё денег до стипендии. Это очень неприятная процедура, даже если ты имеешь дело с таким добрейшим человеком, каким была Оксема.

Печатных трудов у Оксемы Фёдоровны в то время, кажется, не было. В те годы опубликовать что-либо было весьма непросто. Как-то мне попала на глаза изданная в 1980 году при обществе «Знание» брошюра. Называлась она «Художники – лауреаты Ленинской и Государственной премий». Это была более чем скромная книжечка с полным набором неизбежных штампов и соблюдением всего принятого в таких писаниях. В сущности, писать такие книжечки унижительно, но даже для того, чтобы получить заказ на такую работу, нужно было заведовать отделом пропаганды Русского музея. Не каждый кандидат наук имел право сказать слово о лауреатах. В 2000 году у неё вышла книга «Символизм в русском изобразительном искусстве», из которой я узнал, что Оксема Фёдоровна – автор книги «Пятьдесят биографий мастеров русского искусства» (1971) и нескольких альбомов, посвященных русским художникам.

После университета я иногда заходил к ней в музей, но это были редкие встречи.

...Атмосфера на кафедре этики и эстетики была довольно свободная, творческая. Помнится, после третьего курса нужно было написать какую-то отчётную работу. Я принёс В. Г. Иванову эссе из трёх страничек о фильме «Пепел и алмаз» – мы с Новиковым и Типсиным посмотрели его несколько раз. Это было, конечно, не то, что ждал от меня Владимир Георгие-

вич, тем не менее он пошёл мне навстречу и я получил зачёт. Если бы он подходил формально, никакого зачёта мне бы не видать.

Что касается лекций М. С. Кагана, то они были не столько интересны, сколько обстоятельны и универсальны. В дальнейшем он издал их весьма объёмным томом и по окончании университета, когда мне самому приходилось читать лекции по эстетике, я широко пользовался всем, что М. С. Каган предлагал в своём курсе.

Начиная с третьего курса мы жили в студгородке на Новоиз-майловском проспекте, в первом корпусе. Поначалу мы с Витей Новиковым жили в комнате на третьем этаже, граничившей с комнатой отдыха, где стоял телевизор и мы все болели за наших хоккеистов – это была звёздная команда, в которой играли в разные годы братья Майоровы, Вячеслав Старшинов, Александр Рагулин, Валерий Харламов...

С нами жил в одной комнате Борис Макаров, которого в тот день, о котором собираюсь рассказать, почему-то не было. Комната эта мне запомнилась потому, что в ней я потерял девственность и стал мужчиной. Мне уже было двадцать два года. Событие, безусловно, важное в моей жизни. Но и сама по себе эта история, по-моему, забавна и заслуживает того, чтобы на ней остановиться. Разумеется, в дальнейшем я не собираюсь рассказывать о своих мужских похождениях, поскольку это процесс бесконечный, а принципиально нового в них мало, да и поучительного тоже. Но первый раз – другое дело. Тут открывается для человека целый космос.

Я уже говорил, что мы втроём любили кино и вино. Однажды мы шли в состоянии некоторого подпития и познакомились с девушкой, которой было по пути с нами. Девушка, как оказалось, была женой моряка, а моряк был в плавании. Хранить верность в возрасте, когда постоянно хочется, очень трудно, и она охотно согласилась пойти с нами в общежитие. Коля Типсин жил дома, а к нам шёл в гости, он куда-то вышел, и мы остались с Новиковым вдвоём. Он завалился в свою постель и захрапел, всё-таки мы, наверное, изрядно выпили, а я с морячкой нырнул к себе под одеяло. Она помогла мне найти правильную дорогу, и я очень скоро разрядился. «Поцелуй её!» – попросила она и сделала лёгкое принудительное движение руками, спуская мою голову к своим ногам. Я спустился вниз и там, под одеялом, найдя её губами, поцеловал так, как подросток или юноша целует девушку в щёчку, после чего вынырнул оттуда. «Да я у тебя первая!» – как-то покровительственно, по-матерински, ласково сказала она, но и одновременно с каким-то сожалением. Я сознался.

Потом она перешла на соседнюю кровать, где Витя Новиков спал, лёжа на спине. Она села над его головой и стала водить лобком по его губам, пытаясь оживить его. Её волосы лезли ему в нос, щекоча ноздри, и он крутил головой то в одну, то в другую сторону, и только отдувался: «Пфффу! Пфффу!».

Видя его полную беспомощность, она оделась и попросила меня проводить её домой. Я согласился. Она жила на другой стороне Новоизмайловского проспекта, в пятиэтажном доме, во дворе. В подъезде мы ещё некоторое время стояли с ней, и она изгибалась, делая призывные позы, подавая лобок вперёд, словно приглашая меня к пиршеству и выдвигая главное блюдо. Но я был беспомощен в своих ответных движениях, и, поняв, что толку с меня не будет, она попрощалась и ушла домой одна.

Я был на седьмом небе и безудержно радовался произошедшему со мной. На следующий день я шел по городу, ликуя от восторга, не шёл, а летел, и мир мне казался прекрасным, каковым он и был на самом деле. И всю жизнь я вспоминаю ту морячку с благодарностью, я бы сказал, с какой-то сыновней признательностью и с чувством неизбывной вины перед ней, не получившей достойной благодарности. Боюсь, что у неё воспоминания, если таковые остались, не столь светлые, как у меня. Хотя вряд ли у неё осталось что-нибудь от этого проходного в её жизни эпизода.

...В этой же комнате, но уже на четвёртом курсе, случилась такая история. В последний день августа все стали съезжаться на занятия. И, как водится, мы, несколько человек, решили

отметить встречу – Борис Макаров, Витя Новиков, Янис Рокпелнис и ещё человека три. Я же решил пойти устроиться на работу. Оформился, оставил на почте трудовую книжку и пошёл разносить телеграммы. Сама по себе работа не трудная, но я испытывал что-то вроде комплекса неполноценности. Когда мне открывала дверь молодая, красивая, обеспеченная и ухоженная женщина, я чувствовал себя рядом с ней чем-то вроде недо... Хотя при этом внутренняя самооценка у меня была очень высокой. Все порученные телеграммы я разнёс по адресам и даже не пошёл на почту сказать, что не буду этим заниматься, а вернулся в общежитие. Я отсутствовал часа два, но когда подходил к общежитию, то увидел перед входом милицейскую машину, какой-то автопогрузчик и возбуждённую толпу народу. Милиция кого-то погрузила в машину и увезла. Поднялся в нашу комнату, застал там Витю Новикова и Бориса Макарова. Новиков рассказал, что они сидели, пили, а потом Боря Макаров сказал что-то оскорбительное в адрес студента-татарина, пившего с ними. Тот выхватил нож. Кто-то схватил чугунную сковороду и, кажется, огрел ею татарина. Новиков рассказывал всё это возбуждённо. Он сумел отнять нож и так наивно-мечтательно, совсем по-детски, сказал: «Может быть, мне даже медаль дадут!». Видимо, поступок его был вполне героический, поэтому у него было такое самоощущение. Между тем татарин выбежал на улицу, схватил огромное стекло и обрушил его на кого-то. Потом сел на автопогрузчик, вытолкнув водителя, и на кого-то поехал. Тут уж и милиция подошла... А Ян Рокпелнис куда-то сбежал, и потом мы слышим, как он под окнами кричит с улицы. Посмотрели в окно, стоит Рокпелнис и спрашивает, уехала милиция или нет.

Были следствие и суд. Следователем был тоже татарин, и они нашли общее понимание ситуации. Татарин получил, кажется, год условно. Из университета его, разумеется, отчислили, а Макаров и Новиков да, кажется, и Рокпелнис тоже получили выговора и были лишены общежития. Оставшиеся годы учёбы им приходилось снимать комнату в городе.

Этот рассказ я привожу, чтобы показать, как меня хранила судьба. По всем статьям я бы оказался в центре этой заварушки, и чем бы это для меня кончилось – неизвестно. Но в лучшем случае и меня бы выгнали из общежития. Словно кто-то свыше подсказал мне: «Вити, иди устройся на работу!». Это тем более удивительно, что предыдущие три года я не работал, а жил только на стипендию.

После того как Новиков и Макаров выехали из общежития, я переехал на этом же этаже в комнату № 63, это крайняя комната, окнами на пустырь Новоизмайловского проспекта, теперь там разбит парк Авиаторов. Напротив комнаты, через коридор, были умывальник и туалет, что было, конечно, удобно. В этой комнате я жил вместе с Сашкой Фадеевым и корейцем Генкой Хоном. Сашка играл на гитаре, был человеком широкой и разгульной натуры. В нём жила огромная нереализованная энергия, нередко переходившая в агрессивность. Из-за этой его черты с ним ещё на первом курсе случилась большая неприятность. Подвыпив, он насадал на Боря Воронова, парня невысокого роста, довольно щуплого на вид. Фадеев же был здоровяк, и когда мы с ним боролись в колхозе, он всё норовил сломать мне ключицу, захватывая её пальцами и дёргая на себя. Хорошо, что костяк у меня был крепкий. Суть конфликта между ними я не знаю, но сложилось так, что Боря достал перочинный нож, открыл лезвие и всё говорил Сашке: «Не подходи – ударю!». А Сашке гонор не позволял остановиться, ну, тот и ударил. Попал в мочевой пузырь. Сашку увезли на операцию, и потом он долго и трудно выздоравливал. Мы посещали его в больнице, он был бледный, как смерть, но выжил, и со временем в лице у него появилась краска. Он снова набрал силу, хоть, может быть, и не прежнюю.

С Сашкой Фадеевым связан у меня такой эпизод жизни. Однажды в феврале или в марте мы получили стипендию и пошли в «академичку». Набрали целую батарею бутылок пива и сидим себе, потихоньку тянем его. Попиваем. Столика через два от нас сидел очень эффектный молодой человек с демоническим взглядом, подбритыми чёрными бровями вразлёт и лукавой улыбкой. С ним была под стать ему и девушка. Он обратил на нас внимание, и мы сделали ему несколько приглашающих жестов. Когда Сашка пошёл в туалет, молодой человек подошёл ко

мне и сказал, что сейчас проводит жену и придёт к нам. Действительно, расставшись с женой, он подсел к нам, и мы познакомились.

Оказалось, это был художник Владимир Лисунов, в то время ему было ещё двадцать семь лет. Он рассказал о себе, как учился в Институте Репина, но недоучился, бросил. Маша, жена его, была студенткой матмеха. Он пригласил нас к себе показать свои работы. Жил он на Моховой улице, в доме № 28. Когда мы вошли во двор, я посмотрел в небо. Там, над колодцем двора, висела Кассиопея, и это запомнилось мне навсегда.

Поднялись к нему в комнату-мастерскую, и тут на нас буквально выплеснулся поток мрачайших картин, как мне тогда казалось, в духе Бёклина, длинных и мрачных стихов, и скрипка, на которой он играл. В скрипке я понимал мало, но всё это был огромный художественный мир, который подавил нас, вывел из реальности на какой-то совершенно иной уровень мировосприятия.

Прощаясь, Лисунов дал мне свой адрес телефон и сказал: «Приходи один, без этого!».

Когда мы с Фадеевым приехали в общежитие, то с собой прихватили спиртного. И этот вечер имел для Сашки печальное продолжение. Он где-то с кем-то пил, разбил огромное стекло в вестибюле и что-то натворил ещё... Я же остаток ночи провёл у милых мне колен, в светлых романтических разговорах. Мы сидели на диване в комнате отдыха, вернее, сидела она, а я лежал, положив голову к ней на колени, и разговаривали. И таким образом она уберегла меня от совместного с Фадеевым продолжения вечера, закончившегося для него «скорой помощью» и лечением в психиатрической больнице на Пряжке. Но, между прочим, если бы не психиатричка, то на этом его студенческая жизнь и закончилась бы.

По возвращении он рассказывал забавные, хотя, в сущности, трагические или трагикомические истории. Приведу как пример две из них. Один студент так изголодался, что купил на всю стипендию сосисок, с этим и попал на лечение. Другого лечили от любви к кефиру. Он целыми днями пил кефир, и это уже стало угрожать его жизни. Вылечили. Когда его стали выписывать из больницы, врач спросил: «Что будете делать?» – «Пойду куплю кефиру!» – сказал тот. Оставили долечиваться.

К слову сказать, к Лисунову я потом ходил, и у нас завязались отношения, длившиеся до самой его смерти.

Фадеев был человеком творческим по натуре, интересующимся творчеством. Писал ли он сам что-либо, не знаю, кажется, он ничего своего не показывал. Помню, он читал книгу о Лорке в серии «ЖЗЛ» и цитировал оттуда разные пассажи. Ему нравилось произносить: «Знакомься, прима, мой друг Сальвадор Дали!». А однажды он принёс из библиотеки «Книгу масок» Реми де Гурмона. Я проглотил её и испытал несказанное чувство приобщения к чему-то подлинному, настоящему. Это было настоящее пиршество души. Эта книга сопровождает меня всю жизнь. Когда-то у меня было её первое издание, которое я продал в трудную минуту. Теперь её заменяет издание томского «Водолея». Причём у меня есть и городской, и дачный экземпляры. Люблю, чтобы она всегда была у меня под рукой. Был у меня такой эпизод в моей педагогической практике – я решил прочесть кое-что из Гурмона в кружке прозы в литературном клубе «Дерзание». Прочёл одно эссе, другое – никакой реакции. Я не стал никого ни в чём убеждать, а чтобы не осквернять своих светлых воспоминаний, книгу унёс домой и больше никогда её в кружок не приносил.

Между прочим, у Казина в его автобиографической книге есть ссылка на то, что именно у Фадеева он впервые увидел огромный фолиант Андрея Белого под названием «Символизм», знакомство с которым надолго определило научные интересы Казина. С этой книгой и я впервые познакомился через Фадеева. Так что и в моей жизни Фадеев кое-что значил. Но чтобы завершить фадеевскую страничку моей жизни, мне придётся нарушить слово не рассказывать о своих мужских подвигах.

Связывала нас с Фадеевым еще одна история. У него была романтическая связь с девушкой с географического факультета, а у меня – с её подругой, Сашенькой. Сашеньке было уже двадцать четыре года, и она всё ещё оставалась девушкой. У нас с ней были серьёзные чувства, я мог даже и жениться. Сашенька светилась вся, думаю, от этих наших отношений, от предчувствия, от предощущений. Думаю, девственность в этом возрасте становится уже просто обузой, но и расстаться с ней не всегда просто, особенно для некоторых серьёзных натур.

Однажды мы с ней уединились на три или четыре дня и провели их, не вылезая из комнаты, и забыв, конечно, о всяких занятиях. Три дня я уговаривал её расстаться с девственностью, объясняя ей необходимость и неизбежность этого, ну, и, разумеется, присутствуя рядом с ней во всей боевой готовности. Наконец она согласилась: «Ну ладно, давай!». Глаза её светились радостью, вся она была полна томления и ожидания, и когда всё это свершилось, она как-то поникла, потухла вся и глаза перестали светиться. Видимо, она ожидала, что на неё свалится что-то огромное и светлое, а вышло – боль, кровь и ничего интересного. Я очень переживал за неё и утром поехал провожать её на лекции. Она была потерянной и молчаливой. Мы ехали в автобусе – она не проронила ни слова, я пытался всячески расшевелить её, успокоить, что так бывает вначале, когда очень долго ждёшь этого. Постепенно она выправилась, но отношения наши прежними не стали. Всё сошло на нет. В молодости эти травмы заживляются легко, когда жизнь поминутно предлагает тебе замену.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.